

ЕВГЕНИЙ ВОЕВОДИН

# ПО ЗЕМЛЯ ЭКВАТОРУ

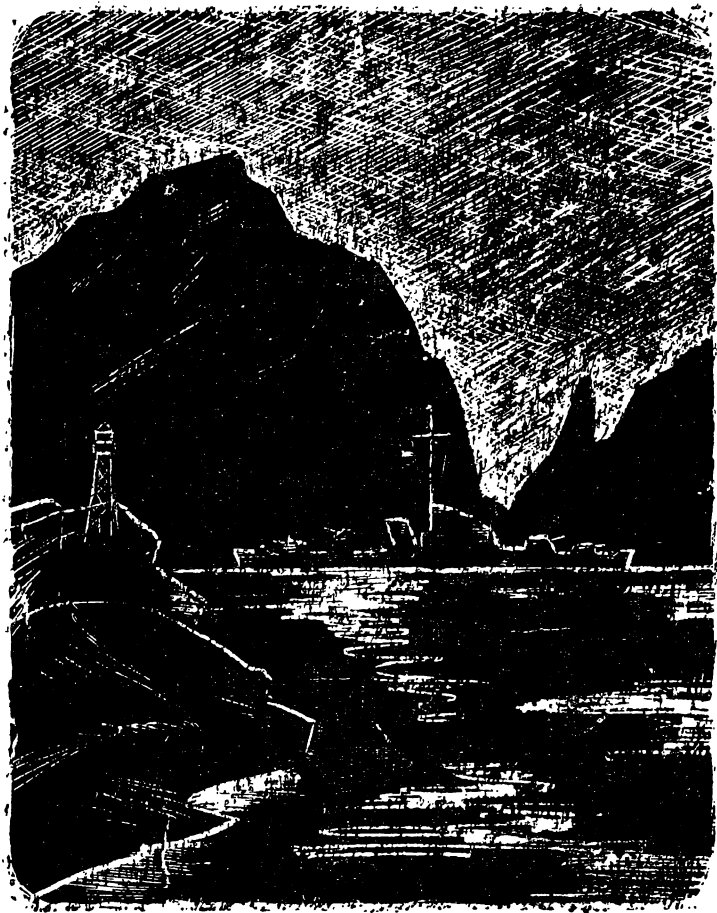


РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕЧКА

ЖУРНАЛА

ПОГРАНИЧНИК



**Библиотечка  
журнала „Пограничник“  
№ 1(13), 1968 год**

**Евгений  
Воеводин**

# **ЗЕМЛЯ ПО ЭКВАТОРУ**

**МОСКВА**



За 15 лет литературной работы Евгений Воеводин написал повести «Твердый сплав», «Совсем недавно», «Наш друг Олег», «Повесть о потерянной любви», «Научи меня жить», «Остров Доброй Надежды», роман «Звезды остаются» (совместно с Эд. Талунтисом), а также рассказы и публицистические очерки. Он писал о чекистах и рабочих, строителях дорог, моряках, летчиках. Все это были люди, с которыми писателя сводила судьба и в его родном Ленинграде, и в поездках по стране, и за ее рубежами.

Эта книжка — результат поездок на заставы и пограничные корабли. Многие пограничники стали не только героями рассказов Е. Воеводина, но и его личными друзьями.

Сейчас автор работает над повестью о дружбе молодых людей — дружбе, подвергшейся тяжкому испытанию. Собран материал для романа о выдающемся большевике-ленинце В. Э. Кингисепе.

Что он намерен написать еще? Повесть о пограничниках. Это его давняя мечта.

## ОТ АВТОРА

*Эту книжку я писал одиннадцать лет.*

*Одиннадцать лет назад начальник заставы имени Козлова привел меня на дюны, к пустынному берегу моря, и сказал только одно слово: «Здесь».*

*Отсюда открывался простор, безбрежный, как жизнь. Со-  
сны скрипели на ветру, и пел песок. Набегало и уходило мо-  
ре, оставляя на песке пахнущие йодом водоросли и куски ян-  
таря. Я нагнулся и поднял стреляную позеленевшую гильзу,  
возможно, это была гильза от его, козловского, пистолета...*

*И вот тогда я почувствовал, понял, что всей своей писа-  
тельской судьбой я обязан людям в зеленых фуражках. И что  
не писать о них и для них я не имею права. С тех пор у меня  
вышло много книг, но любимой темой на всю жизнь осталась  
тема пограничная.*

*Это — моя вторая книга рассказов о пограничниках. Пер-  
вую я написал для детей, потому что дети — всегда романти-  
ки, а многие из них со временем придут на границу охранять  
свою страну.*

*Вторую свою книжку я хочу посвятить памяти Михаила  
Козлова. Я вспоминаю о нем ежедневно. Позеленевшая стре-  
ляная гильза много лет стоит на моем рабочем столе, напоми-  
ная о долге, который еще не отдан.*



## Земля по экватору

Если бы несколько лет назад Виктору Саблину рассказали, что бывает такая граница, он либо не поверил, либо просто посмеялся бы над рассказчиком. Выдумает тоже! Застава в городе! На посты на автомобилях разъезжаются! Оставьте эти шуточки!

Границу он знал по книгам и фильмам, в которых враг перебирался через контрольно-следовую полосу, нацепив на ноги и руки кабаньи копытца. Погоня, бесшумные пистолеты, взмыленные лошади, овчарки на вертолетах... Мальчишкой он раз пять бегал на «Заставу в горах», и ночами ему снились ущелья, тени в тумане, верный конь и меткий карабин. Он успел выучиться на шофера, когда его призвали в погранвойска, и он очутился в пыльном южном городке, стоящем на самой границе.

На заставе Виктор шоферил, как и на гражданке, с той лишь разницей, что раньше у него был МАЗ, а теперь — зеленый «газик» с брезентовым верхом. Он развозил вдоль границы наряды, ездил в совхоз за продуктами, подкидывал в аэропорт начальство, мотался на соседние заставы за круглыми коробками с кинолентами, — словом, работы и ему, и «газику» хватало. За два с половиной года службы он накрутил около двадцати трех тысяч километров и жалел, что не доберет до сорока: как раз обогнул бы по экватору землю.

Саблин не любил ездить порожняком. Он ощущал почти физическую неловкость оттого, что едет на мягком кресле, а кто-то в это время топает пешком. «Машина не роскошь, а средство передвижения», — говорил он. И, если на дороге ему случалось обгонять прохожих, он тормозил и сам предлагал подбросить. Иногда рядом с ним оказывались девушки, тогда Саблин просто расцветал от удовольствия. Никто на заставе не мог похвастать таким обилием знакомств с девушками.

Но, пожалуй, больше всего Саблин любил ездить в сторону Григорьевского, небольшого села, утонувшего в пыльных акациях. Школы там не было, и ребятишкам приходилось бегать в город за три километра или трястись в автобусе. «Газик» Саблина был хорошо знаком им. Они враз поднимали руки, едва завидев тупорылую машину и водителя в зеленой фуражке. Саблин останавливал «газик» и командовал:

— Кто с тройками и двойками — пешком. Остальные — садись!

В машине начинались давка и возня, ссоры из-за места рядом с «дядей Витей», а «дядя Витя», отроду двадцати одного года, только посмеивался от удовольствия. И затем следовал один и тот же вопрос:

— Как поедem?

— С ветерком! — орали все. Но Саблин не ездил с ветерком. Все-таки малышня в машине.

А троечники и двоечники в это время уныло брели следом, отмахиваясь от мелкой пыли, поднятой колесами...

Ребята подрастали, переходили из класса в класс, и Саблину стоило труда запоминать их всех по именам, все это множество Васек и Колек, Люб и Наташ, Татьян и Борисов. Даже один Вольт был среди его приятелей и одна Эрудина — дадут же родители своим чадам такие имена! Вольт Иванович! Эрудина Петровна!

И только один паренек никогда не садился к Саблину в машину. Тогда, в первый раз, он тоже было кинулся штурмовать кузов, но, услышав саблинское «кто с трой-



ками и двойками — пешком», остановился и больше не пытался забраться в «газик». Печально он стоял в стороне — худенький, в поношенном, с чужого плеча, длинном пальтишке, с брезентовой сумкой через плечо вместо портфеля. А потом, когда ребята «голосовали» Саблину, шел по обочине, не останавливаясь и не оборачиваясь, и вся его маленькая фигурка, размеренно шагающая вперед, и сумка, бьющая по боку при каждом шаге, и полы пальто, шлепающие по ногам, — все это вместе словно бы говорило: «Плевать в тетрадь! Не видали мы ваших машин! Мы и пешим ходом доберемся как-нибудь, нам не к спеху».

Однажды Саблин спросил у Вольта — это кто?

— Этот? А, Витька Крылов. Самый первый ученик. От конца, конечно. Из второго «б».

— А вы бы ему помогли.

— Ему поможешь! Он, знаете, какой гордый? И упрямый. Сделает все уроки, Нина Федоровна спросит: «Ты, конечно, опять ничего не выучил?» — а он ей в ответ: «Конечно», хотя все назубок знает. Ну, вот и двойка.

В один из апрельских дней Виктор Саблин подкатил с ватагой ребят к школе и не уехал, как бывало обычно, а вылез из машины и спросил:

— Где тут найти Нину Федоровну?

Ребята потащили его в учительскую. Нина Федоровна еще не пришла. Сняв фуражку, Саблин разглядывал портреты великих писателей, между которыми висел Ньютон, расписание занятий, и фотографии в стенгазете «Учитель».

— Вы ко мне? — раздался голос сзади.

Он обернулся. Невысокого роста молодая женщина смотрела на него строго и выжидающе. Он успел заметить плотно сжатые, тонкие губы, некрасивый, с загугулиной нос и подумал о том, что у нее, этой учительницы, характерец, должно быть, не приведи бог.

— Вы Нина Федоровна? — спросил он в свой черед.

— Да.

Саблин чуть растерялся. Видимо, где-то в подсозна-

нии еще осталась школьная робость перед учителем. Давно ли он сам заходил в учительскую только для того, чтобы отнести журнал или получить нагоняй за курение в уборной? Теперь он мог говорить с любым учителем на равных, но вот — поди ж ты! — растерялся и смущенно сказал:

— Я насчет своего тезки. Ну, Виктора Крылова.

— Вы родственник? — строго спросила Нина Федоровна.

— Да нет, какой я родственник! Так, стороной узнал, что у парнишки нелады. Я здесь на заставе служу.

— Тогда что же вам нужно? — пожала плечами Нина Федоровна. — Служите себе на здоровье.

И тогда робость прошла. Саблин почувствовал, как его захлестывает злость. Ишь ты какая! Он все-таки сумел сдержать эту злость и сказал, стараясь казаться не просто спокойным, но даже веселым:

— Служу, в общем-то, всем на здоровье, а вот у тезки моего, говорят, дела не клеятся. Говорят, между прочим, что он парень с мозгой, да вот только вы в нем не разобрались.

Нина Федоровна удивленно подняла на Саблина крупные, холодные глаза и усмехнулась краешком тонких губ.

— Да? Скажи на милость, какая непонятая натура! Лодырь он, ваш Крылов, вот и все. Лодырь и вообще... трудный ребенок. А сейчас, простите, у меня нет времени. Попросите лучше его мать зайти ко мне.

Саблин уехал.

Ехал и ругал себя за то, что пошел к этой даме с глазами-ледышками. Ну, и чего добился? Вот тебе — души прекрасные порывы! Настроение было испорчено вконец.

Но странная вещь! Паренек этот, «ваш Крылов», как сказала учительница, не шел у него из головы. И Саблин обрадовался, когда вновь увидел его на дороге, увидел издали, хотя час был поздний и темный. Фары осветили шагающую по обочине фигурку, и Саблин, даже не разглядев ее как следует, решил — он.

Саблин вез киноленты на соседнюю заставу и должен был захватить оттуда коробки с другим фильмом. Времени у него было в обрез. Но он не мог не остановиться.

— Здоров, тезка!

Мальчишка не ответил и прошел мимо машины. Саблин включил первую скорость и медленно поехал рядом с шагающим Витькой.

— Ты чего не здороваешься?

— Ну, здравствуйте.

— Садись, подвезу.

— А мне не к спеху. И так дойду.

— Мать, должно быть, ждет, все-таки?

— Может, и ждет.

— А батька?

— Вам-то что?

— Ну, садись.

— Я ж сказал, мне не к спеху.

— Чудак ты, Витька! Ботинки у тебя что, казенные? У меня вот — казенные, да я и то в машине еду. Мягко, удобно: красота!

— Ну и ездите сколько хотите.

Он шагал, упорно отворачиваясь от ползущей рядом с ним машины, и Саблин понял, что уговорить Витьку сесть в «газик» — дело безнадежное. Оставалось последнее средство. Саблин притормозил и с удовольствием заметил, что Витька тоже замедлил шаг.

— Ты что, сердит на меня, что ли? Ну, по правде говори — сердит?

— А то! — тоскливо сказал Витька.

— Потому что двоечников и троечников не вожу, да?

— А то! — снова сказал Витька.

— Разве я неправильно делаю?

Витька взглянул на него ненавидяще.

— А по-твоему, у кого двойки, те не люди, да?

И, крикнув это, Витька побежал. Сначала он бежал по дороге, потом свернул с нее и исчез в темноте. Напрасно Саблин несколько раз окликнул его, а потом погудел — Витька словно бы растворился в ночи. Тогда,

чертыхнувшись, Саблин вышел из машины и пошел за ним, свернул там, где скрылся Витька, и словно бы сразу лишился зрения. Кочки и комья земли мешали идти, он брел, нащупывая ногами землю и слепо выставив вперед руки, чтобы не напороться на какое-нибудь дерево или забор, и звал: «Витька, Витька!» Но ночь не отзывалась.

Снова чертыхнувшись, он выбрался обратно на дорогу и увидел, что Витька стоит у обочины. Носком ботинка он ковырял землю и поддавал комья, будто бы желая показать, что он вовсе никого не ждет, а просто ему очень интересно стоять вот так и отфутболивать эти комья земли.

— Садись, — сердито сказал ему Саблин. — И так я из-за тебя опаздываю. Схлопочу выговор — будешь тогда знать.

Витька послушно пошел к машине, открыл дверцу и забрался на переднее сиденье.

Саблин покосился на него. Чуть нагнувшись, Витька разглядывал приборы. Саблин впервые видел его так близко. У Витьки были большие и печальные глаза. Впрочем, так могло только показаться в темноте. Откуда у пацана могут быть такие печальные глаза?

— Это спидометр? — спросил Витька.

— Он самый.

— А это бензомер?

— Угу.

— А сколько на «газе» можно выжать? Сто можно?

— Можно и сто.

Витька откинулся на спинку кресла.

— Хорошая штука, — деловито сказал он. — Ты на ней много проехал?

— Много, — сказал Саблин. — Только вот не успел землю обогнуть по экватору. Ты знаешь, сколько по экватору километров?

— Знаю, — сказал Витька. — Сорок тысяч, всего и делов. Обогнешь еще... Мне налево надо.

Саблин послушно свернул. Витька сидел рядом и, вглядываясь в темноту, негромко командовал: «Вот сей-

час еще налево... а потом направо... И через два дома...»

Саблин затормозил. Витька посмотрел на него снизу вверх, и опять Саблин увидел, что у пацана печальные глаза. Он не спешил выходить из машины, как будто ему некуда было идти.

— Ты чего? — растерялся Саблин.

— Так, ничего, — отвернулся Витька. — Приехали.

Неожиданно в свете фар появилась женская фигура, и Витька, встрепенувшись, тихонечко вскрикнул: «Мама!» Он даже забыл поблагодарить Саблина. Саблин видел, как Витька метнулся к матери и, подбежав, взял ее за руку.

Заслоня от яркого света глаза, женщина поглядела на машину, — должно быть, Витька сказал матери, что он приехал именно на этом «газике». Не выключая мотор, Саблин вышел и шагнул к женщине.

— Беги домой, Витька, — сказал он. — Нам с твоей мамой поговорить надо. Ну?

Витька нехотя отошел, и тогда Саблин протянул женщине руку.

— Здравствуйте, — сказал он. — Славный у вас паренек.

— Да, — тихо ответила женщина.

— Только вот... В школу вас просили зайти, — сказал Саблин. — Неладно у него. Учительница там, Нина Федоровна, не приведи бог...

Он не видел лица женщины, она отступила в тень, и только светлое пятно выступало оттуда.

— Спасибо вам, — так же тихо сказала она. — Я это знаю. Да где ж ему учиться-то, как всем людям?..

Она всхлипнула, и Саблин почувствовал, что где-то рядом с ним, быть может, совсем рядом, притаилось большое горе, а он-то и не знал о нем ничего, и что Витька, этот упрямый, даже злой Витька, стал именно таким потому, что прошел через это горе.

— Ну что вы? — забормотал Саблин. — Нельзя же так, честное слово. Что у вас стряслось-то?

— Ничего, — всхлипывая, ответила женщина. — Уезжайте лучше. Неровен час...

— Но...

— Езжайте! — уже потребовала она. Саблин услышал ее быстрые шаги. Женщина прошла к дому. Хлопнула дверь. Все. Он мог ехать. И тогда из темноты к нему снова подошел Витька.

— Ты сейчас куда? — спросил он.

— По делам.

— Возьми меня с собой, а?

— Не могу.

— Шпионов ловить?

— Военная тайна, Витька.

— Понятно...

Он молчал, молчал и Саблин. Конечно, больше всего на свете Витьке хотелось спросить, будет ли он теперь сажать его в машину. Это-то Саблин знал точно. И, положив руку на витькино плечо, сказал:

— Пока, парень! Увидишь мою машину — садись смело. Ясно?

— Ясно, — выдохнул Витька.

Саблин уехал. Ехал, и жал вовсю, чтобы не опоздать и не получить нагоняй от старшины. Но все-таки опоздал и нагоняй был. Но Саблин даже не обратил на это внимания. Прикосновение к чему-то непонятному, что взволновало его сегодня, тревожное ощущение чьего-то горя теперь владело им, и он не мог отделаться от этой тревоги. Как она сказала, Витькина мать? «Да где ж ему учиться-то, как всем людям?..» Почему? И почему она всхлипнула тогда, словно вскрикнула, тонко-тонко, как птица, попавшая в силочку и уже отчаявшаяся выбраться из него?..



В первый же свободный день, получив увольнительную, Саблин поехал на автобусе в Григорьевское. Он слез там, где Витька в первый раз сказал «налево», и каким-то чутьем сразу нашел витькин дом, стоящий позади

пыльных акаций. Зайти туда он решился не сразу, а постоял на улице, покурил и наконец, зачем-то поправив фуражку, толкнул калитку...

Крик, донесшийся из дома, прозвучал для него, как взрыв. Женский крик, в котором было все — и боль, и отчаянье, — словно подхватил Саблина. Прыжками он добежал до двери и рванул ее на себя.

Мужчина стоял посреди комнаты, подняв палку. Саблин увидел только мужчину и поднятую палку, и этого было вполне достаточно для того, чтобы прыгнуть еще раз. А дальше все произошло так, как тысячу раз происходило на занятиях. Рука мужчины перехвачена, правая рука Саблина захватила ее под локоть, рывок в сторону, и мужчина с глухим стоном валится на пол.

— Вот так-то, — сказал Саблин. Его трясло. Еще ничего не понимая, он оглянулся. Молодая женщина сидела в углу прямо на полу, закрыв собой Витьку. Все лицо Витьки было в крови. Саблин помог подняться женщине и поднял Витьку на руки.

— Пошли, — сказал он. — Скорее!

Только полчаса спустя, когда на медпункте Витьку повели на перевязку, Саблин словно впервые увидел его мать и поразился тому, какой измученной и усталой была она. Но не только этому. Казалось, что перед ним не женщина, а совсем девочка, очень красивая, с большими черными глазами южанки и темной от солнца, отливающей шелком кожей. «Такая молодая...» — подумалось Саблину.

— Это ваш муж? — спросил он, вспомнив мужчину с палкой. Она кивнула.

— Сволочь он, — убежденно сказал Саблин. — Судить его надо.

Женщина не ответила. Она только поглядела на Саблина, и он смущенно отвернулся. Казалось, все лицо этой женщины занимали огромные, глубокие, как омут, глаза, и он чувствовал, что тонет в них. Такое с ним случилось впервые. И новое чувство, которое испытывал Саблин было и радостным, и тревожным одновременно.

— За что он так Витьку? — спросил Саблин.

— Ни за что, — ответила она. — Пьет он. Все пропил. И совесть, и сына...

— А вы тогда зачем с ним живете? — спросил Саблин и покраснел оттого, что вопрос-то получился мальчишеский. — Ну, ушли бы куда-нибудь... К родственникам, что ли?

— Нет у нас никого. — Она снова поглядела на Саблина. — И Витька... его сын. Как же можно?

Саблин, горячась все больше и больше, начал доказывать ей, что это черт знает что, и что нельзя быть такой покорной, и что... Женщина мягко перебила его, положив свою руку на его.

— Вы еще совсем мальчик, — тихо сказала она. — Я ведь у него вторая жена, а Витька — от первой. Он мне четырехлетним достался. И прав у меня на него никаких. Я бы ушла, но как его оставишь — вот в чем дело-то...

Саблин смотрел на женщину, не отрываясь. Так вот почему она сразу показалась ему такой молодой? И сколько же, стало быть, доброты в ней, если терпит все это ради Витьки и если Витька называет ее мамой!

— Ну ладно! — с угрозой сказал Саблин. — Разберемся еще! — И спохватился: — А мы с вами даже не знакомы. Сержант Саблин. Ну, а звать меня так же, как и вашего... сына. Виктор.

— Ирина, — впервые за все время улыбнулась женщина.

Крылова судили.

Суда над ним потребовала вся застава, когда Саблин, вернувшись, рассказал, как было дело. На суде Саблин выступал свидетелем, и как Крылов ни хныкал, ни изворачивался, дали ему два года исправительно-трудовых работ. Кроме того, Крылова лишили прав отцовства; Ирина усыновила Витьку официально. Единственное, о чем жалел Саблин, это о том, что на суде не было учительницы Нины Федоровны; быть может, кое-что и дошло бы до нее тогда.





Когда милиционер выводил Крылова из зала суда, тот остановился и слезливо спросил жену:

— Ждать будешь? Передачку там или еще что-нибудь...

— Нет, — ответила она, отворачиваясь. — Не надейся. Хватит.

Крылов ушел, опустив плечи и волоча ноги, будто на него навалили тяжелые мешки...

Потом Саблин и Ирина вышли на улицу.

— Ирина, — тихо сказал Саблин, — можно я к вам

иногда заходить буду, а? Витька опять же по всем предметам хромает...

Он солгал и покраснел. Конечно, в первую очередь ему хотелось видеть Ирину. А Витька... Он ждал его возле заставы в тот день. Подошел, взял за руку и, заглядывая снизу вверх в глаза, спросил:

— Ты сегодня никуда не поедешь?

— Поеду.

— Военная тайна?

— Нет. В совхоз.

— А я?

— И ты.

— Может, еще обогнем землю по экватору? — глядя куда-то в сторону, с надеждой спросил Витька...



Я не видел на заставе Виктора Саблина, и всю эту историю мне рассказал капитан Герасимов. Потом он полез в ящик стола, достал пачку писем, порылся в ней и вытащил листок бумаги, исписанный крупным, четким почерком.

— Вот, — сказал мне капитан. — Последнее. Прочитайте.

«Дорогой товарищ Герасимов! — прочитал я. — Привет Вам большой от всего моего семейства: Иры, Витьки и, конечно, от меня самого! Приехали в Красноярск, устроились неплохо, — правда, в одной комнате пока. Я работаю на строительстве, заложили улицу Пограничную. Нашего брата здесь несколько тысяч. Я, конечно, на самосвале. Получил совсем новенькую машину и набегал уже тысячу двести километров. Иринка работает в столовой. Витька принес на днях первую в своей жизни пятерку. Каждый день он прибегает из школы ко мне, на стройку, лезет в мой самосвал и смотрит на спидометр: скоро ли батяка обогнет землю по экватору?»

К письму была прикреплена фотография: трое счастливых людей глядели на меня, словно приглашая порадоваться их самому обыкновенному счастью...

## **Замполит Званцев и его друзья**

Есть люди, при встрече с которыми начинаешь удивленно понимать, как мало ты видел и как слабо разбираешься в человеческих душах. Быть может, поэтому я могу слушать Степана Григорьевича Званцева часами. Но мы встречаемся с ним редко, урывками, наспех, поэтому я, наверно, так плохо еще знаю этого человека.

Он шутит: «Вот уйду в отставку, тогда...» Но это будет еще не скоро. Замполиту немногим более сорока. Он среднего роста, у него чуб, как у казака, чуть приплюснутый, некрасивый нос, но совершенно ослепительная улыбка.

Но не это главное, разумеется. Главное — у него множество друзей, и, мне кажется, любой человек, только раз встретившись с замполитом Званцевым, как бы прикипает к нему душой. Я не исключение в этом смысле. И написать о нем я задумал давно, сразу же после нашей первой встречи.

В тот день, покосившись на мой блокнот, Званцев спросил:

— Вы хотите каких-нибудь особенных историй? Таковых со мной не случалось. А с людьми мне приходилось встречаться действительно с особенными. Вот одна история. Назовите ее, как хотите, а я бы назвал ее так:

**1**

Новичков на базу привел мичман Жадов.

Ребята шагали, оглядываясь.

В этих северных краях им предстояло служить еще два года. После городка на Черном море, где они учились, перемена была слишком заметной. Шел холодный, осенний дождь. Скалы, поднимающиеся из воды на противоположном берегу бухты, казались угрюмыми морскими чудовищами, вылезшими поглазеть на прибывших матросов. Холодные скалы, низкое холодное небо и ветер, сразу облепивший новенькие форменки, — все это было так неприятно, что кто-то из новичков не выдержал и сказал: «Физкультпривет, хлопцы! Теперь закаляйся, как сталь!»

Жадов, не оборачиваясь, прикрикнул: «Разговорчики в строю!» — хотя отлично понимал, каково сейчас этим коричневым от южного солнца ребятам. Уже завтра он самолично будет раздавать им сагрипин в бутылочках и следить, чтобы они принимали лекарство, но все равно несколько человек свалятся с температурой. Ничего не поделаешь — перемена климата. Впрочем, мичман фыркал: детишки! Дунь на них — сразу начнут чихать!

Мичман имел все основания думать так, потому что за свои тридцать два года не болел ничем, кроме аппендицита, и то в детстве, когда наглотался черемухи с косточками. Никакая перемена климата на него не действовала, и, как все здоровые люди, он с подозрением и иронией относился к любым болезням.

Новичков встречали с оркестром. Все офицеры дивизиона, оказавшиеся в этот час на базе, вышли на просторный плац перед штабом и, ожидая, кутались в плащи и шинели. Капитан-лейтенант Званцев, замполит с БО-270, в шутку предложил сплясать — благо оркестр имеется. Стоявший рядом с ним командир «большого охотника» Ратанов усмехнулся:

— Погоди, еще попляшем. На неделе обещают восемь-девять баллов.

— Ну? — усмехнулся в ответ Званцев. — Нам-то с тобой этот танец не в диковинку, а вот новичков на такой погодке обкатать недурно...

Тут же он подумал, что расписывать новичков по кораблям будут только через несколько дней, а сегодня у них законные баня, концерт, кино и мировой ужин с компотом.

Из всех офицеров дивизиона, пожалуй, капитан-лейтенант Званцев был единственным, кто ожидал прибытия новичков с таким нетерпением. Год назад он выезжал в командировку — отбирать призывников для морских частей пограничных войск, и многие ребята запомнились ему именно тем, что были удивительно славными людьми, с хорошими и честными судьбами. Сейчас ему хотелось встретиться с ними и сделать так, чтобы лучшие попали на БО-270. Званцев знал, что стоит ему дать список командиру корабля — и все будет в порядке.

Между тем новички уже вошли на территорию базы, оркестр грянул марш, и ковыляющие по прибрежному песку чайки испуганно шарахнулись на другую сторону бухты. Званцев торопливо оглядывал ряды и вдруг улыбнулся — во всяком случае, один из его прошлогодних знакомых есть. Впереди, возвышаясь над другими едва ли не на две головы, вышагивал Вовк. Званцев помнил и его имя, и фамилию. Помнил, как Степан, узнав, куда его хочет взять морской офицер, чуть не заревел горячими слезами. «У меня батя тележного скрипа боится, а вы меня — в море. Пропадут! Честное комсомольское, пропадут». «Ну, — улыбнулся ему тогда Званцев, — не дадим комсомольцу пропасть».

Званцев кивнул на парня и шепнул Ратанову:

— Этого длинного хорошо бы к нам. Мой крестник.

— Ты как барышник, — хмыкнул Ратанов, а сам так и бегал глазами по незнакомым молодым лицам, будто

стараясь угадать, кто из них лучший радиометрист, механик, комендор...

Все было, как бывало много раз до этого. Короткая речь командира дивизиона, короткая речь начальника политотдела, короткая речь «старичка»-старшины, уходящего в запас, — и снова оркестр. Званцев шел на корабль с мичманом Жадовым, и тот гудел своим баском:

— Ну, я вам доложу, и фрукты среди них есть. Проходим через город, а они отмечают: «Ничего девочки имеются». Или: «Три румба вправо блондинка». Разбавлялись на Кавказе. Виношко у них там, рассказывают, рубль за литр.

Званцев фыркнул:

— Сколько вам лет, мичман? Сто?

— Сто не сто, — проворчал Жадов, поняв, куда клонит капитан-лейтенант, — а девятнадцать мне тоже когда-то было, между прочим.

В этом дивизионе мичман служил уже пятнадцатый год или, как он говорил, успел проводить на «гражданку» четырнадцать сроков. Званцев знал, что вся служба досталась ему собственным горбом, ни в каких учебных отрядах он не был, просто потому, что этих самых отрядов в ту пору не существовало — пришел ярославский паренек, надел, как все, робу и начал осваивать сложную моряцкую науку.

Об этой поре своей жизни мичман Жадов вспоминать не любил. Зато командир дивизиона Лучко, встречаясь с Жадовым, неизменно подмигивал ему и спрашивал: «Ну, где же пеленги?» История с пеленгами была известна всем, и ее передавали из поколения в поколение — от старичков к новичкам — как пример той развеселой морской травли, которая, увы, почти совсем исчезает на флоте из-за того, что народ нынче пошел шибко прамотный.

Так вот, пятнадцать лет назад Лучко, командовавший в ту пору кораблем, крикнул матросу Жадову с ходового мостика:

— Идите брать пеленги!

Жадов, прослуживший на корабле уже целые три дня, спросил у пробежавшего мимо старшины, где ему взять эти самые пеленги, и тот, не моргнув глазом, посоветовал обратиться к боцману. Боцман тоже, не моргнув глазом, откинул крышку форпика и достал два красных от ржавчины рыма, бог весть как завалявшиеся в налаженном и надраенном боцманском хозяйстве.

— Вот, — сказал он Жадову. — Тащи. Только ржавчину сними, не терпит командир ржавчины.

Лучко на мостике рвал и метал — где Жадов? А Жадов в это время надраивал до блеска старые рымы. Потом он появился на мостике, протянул рымы командиру, и тот изумленно сказал:

— На кой черт вы мне это притащили?

— Пеленги, товарищ капитан-лейтенант. Сами же приказали взять.

Говорят, корабль содрогался — так хохотали все, в том числе и Лучко. И вот пятнадцать лет спустя Лучко, уже капитан первого ранга, неизменно подмигивал мичману при встрече: «Так где же пеленги, мичман?»

Боже ты мой, сколько раз еще он попадался на подобные шуточки, наивный ярославский паренек, отроду не видевший моря! И кнехты осаживал молотом, и шваброй болтал за кормой, чтобы салака не обсосала свежую краску... Но вот завидный характер: он ни разу не обиделся, как обижались другие, а хохотал вместе со всеми над своей «оплошкой», потому что всякую науку считал впрок. А потом, годы спустя, сам разыгрывал новичков — беззлобно и тоже ради науки: не будь лопухом, милый мой, и помни, что пограничнику голова дана, чтобы думать.

Все это Званцев знал, и поэтому ворчливое настроение мичмана было ему понятно, хотя он и не прочь был подшутить над этой воркотней. Он уважал мичмана, как уважают ровню; разница в годах в счет не шла. Замполит не скрывал, что он иногда просто-напросто любит-ся боцманом, тем, как тот вываливает шлюпку или учит матросов швартоваться с ходу, впритирочку.

На борт «большого охотника» они поднялись вместе, и дежурный доложил, что никаких происшествий не произошло, команда ужинает, а потом, совсем уж не по уставному, добавил:

— Товарищ капитан-лейтенант, вы новичков не встречали?

— Встречал.

— Земляка моего там случаем не видели? Длиннющий такой.

— Вовк, что ли?

— Он самый!

— Прибыл ваш земляк.

— Товарищ капитан-лейтенант! — глаза у матроса стали молящими. — Вы ж просто не знаете, какой это парень.

— Ну, положим, немножко знаю, — усмехнулся Званцев.

— К нам бы его, — совсем шепотом сказал матрос. Званцев прищурился:

— К нам, думаете? Там видно будет...

## 2

На «больших охотниках» ребята бывали и прежде — проходили практику, поэтому на БО-270 они пришли, будто в привычный дом. Знакомство со «старичками» состоялось просто и быстро. Только маленький, чернявый и подвижный как ртуть моторист Тенягин застыл в изумлении перед Степаном Вовком и, задрав голову, спросил:

— Тебя как звать, деточка?

— Степаном, — ответил Вовк, тоскливо обводя глазами койки: ни одна ему не годилась. Обращение «деточка» его ничуть не обидело. Либо он вовсе пропустил его мимо ушей в своих раздумьях о том, где и как ему устроиться, либо сам понял всю нелепость этого обращения, а чего ж обижаться на нелепости!

— Как это Степаном? — стараясь казаться серьез-



ным, снова спросил Тенягин. — Ошибочка, должно быть. Ты же не один, а целых два Степана! — сказал Тенягин и, вытянув вверх руку, едва достал до плеча Вовка. — Так и есть: два!

Ребята, поначалу не уловившие шутку, теперь приехали от смеха. Два Степана! И Вовк понял, что отныне он так и будет зваться здесь и что кличка эта пришвартовалась к нему намертво.

Вечером в кубрик спустился Званцев. С Вовком он поздоровался, как со старым знакомым, и спросил:

— Ну как? Оморячились?

— Немного, товарищ капитан-лейтенант. Только вот, как набегит волна, — богу душу отдаю. Бьет меня море. Я же говорил вам — какой с меня моряк!

— Между прочим, — ответил Званцев, — я к морю тоже не сразу привык. И меня било, будь здоров! Надо научиться жить на море. Очень просто. Валит, например, корабль на правый борт, а ты упрись ногами в палубу и думай, что это ты его раскачиваешь. Убеждай в этом себя. Вроде бы игра, а помогает. — И спросил уже другим тоном: — Со своим хозяйством познакомились?

Вовк был электриком. В его документах, пересланных с учебного отряда, говорилось, что «по всем предметам матрос Вовк показал отличные знания». Званцев уже познакомился с документами новичков и радовался, что не ошибся в своем «крестнике».

Теперь у Вовка было огромное и сложное электрохозяйство корабля, в том числе святая святых — спрятанный в крохотном кубрике возле машинного отделения гироскопас... А начать ему пришлось в тот же день с простой электрической лампочки. В каюте командира перегорела лампочка, и Ратанов попросил мичмана прислать электрика. Пошел Вовк.

Вниз, в свою каюту, Ратанов спустился уже ночью и, случайно подняв глаза, увидел, что стеклянный матовый плафон весь в трещинах. Утром Ратанов сказал об этом боцману, и Жадов ответил:

— Должно быть, во время последних стрельб потре-

скался. Сейчас перемену: у меня три штуки есть в запасе.

Через два дня и этот запас кончился. Плафоны трескались один за другим, хотя корабль еще не выходил в море и никаких стрельб не было.

Первым причину этого непонятного явления открыл мичман Жадов. Он подошел к Вовку и спросил:

— Проводку в кают-компании проверял?

— Так точно.

— А сигнализацию?

— Всю проверил.

— А голова твоя где была? — прищурился мичман.

Степан растерялся, таким неожиданным был этот вопрос.

— Как это где? На месте была, надо полагать!

— Ладно! — махнул рукой Жадов. — На первый раз прощаю.

Больше Вовк в командирские каюты не ходил.

Жадов не выдержал и как-то за обедом рассказал офицерам об этих плафонах. Рассказывал он красочно, даже пытался показать, как матрос, согнувшись в три погибели, входит в кают-компанию или каюту, потом распрямляется и — хрясь о плафон. Званцев хохотал, вытирая выступившие слезы, инженер-механик даже постанывал — так здорово изображал новичка боцман, лишь Ратанов сидел, уткнувшись в свою тарелку.

— Собственно говоря, — наконец сказал он, — я не вижу во всем этом ничего смешного. И вы напрасно миндальничаете с новичками, мичман. Матрос бил плафоны и скрывал это. Не понимаю, над чем смеяться.

В кают-компании сразу стало тихо. Ратанов встал — за ним поднялись все.

Званцев зашел в каюту командира через час, когда у Ратанова выдалось свободное время и он решил немного отдохнуть: ночью корабль уходил на дозорную линию.

— Что это с тобой, Кирилл Петрович? — спросил он, закуривая. — До сих пор ты любил хорошую шутку.

— Оставь этот разговор, — перебил его командир. — А если хочешь честно — не нравится мне твой «крестник». Жалею, что послушался тебя и взял его на корабль. Почему, спросишь? Не люблю застенчивых. Хоть убей — не люблю. — Он даже встал со своего дивана. — Люблю четкость, люблю подтянутость, люблю быструю. А этот парень ходит, как мешок, говоришь с ним — переминается с ноги на ногу. Тюлень, а не матрос.

Званцев слушал его терпеливо: он знал, что командиру надо выговориться.

— Ну, Кирилл Петрович, это тоже не дело: «люблю — не люблю». Он, действительно, увалень. Четкость и подтянутость приходят не сразу. Парень же, по-моему, подходящий. Знаешь, как его у нас прозвали? Два Степана.

— Вот и давай, воспитывай его, — буркнул Ратанов. — Он Два Степана да ты Степан — глядишь вас уже и трое...

Званцев пошел к себе, так и не поняв, почему командир не влюбил нового электрика.

### 3

Подсознательно, быть может, Званцев приглядывался к Вовку пристальней, чем к другим новичкам. Другие вошли в быт корабля как-то очень легко, и через несколько дней их уже трудно было отличить от «старичков». Зато Степан все время был на виду. Его огромный рост сразу бросался в глаза. И Званцев сам не раз слышал шуточки, которые отпускали матросы по адресу Степана. Казалось, они были неутомимы в своем остро словии.

— Кок, одну порцию недодал! — кричал кто-нибудь из них.

— Кому?

— Вовку. Их же Два Степана все-таки.

Или Вовк лезет из люка на палубу:

— Внимание, появилась голова Двух Степанов. Через полчаса появятся ноги.

Или:

— Слушай, Два Степана. Тебе на пражданку идти никакого смысла уже нет. Оставайся на флоте. Мачтой можешь служить или, еще лучше, буйком. А что? Встанешь себе на дно и будешь руководить кораблями.

Званцев однажды спросил его:

— Товарищи над вами подшучивают. Вы не обижаетесь?

— А чего же обижаться? — удивился Вовк. — Они же не со зла, верно?

Добродушие так и сияло на его лице. Лишь однажды, когда его особенно донял маленький и вертлявый Тенягин, Вовк проучил его.

Жадов послал Вовка за Тенягиным — тот был ему зачем-то нужен. Степан спустился в кубрик и спросил ребят, где Тенягин, хотя моторист сидел тут же за столом и читал.

— Да вот он. Не видишь, что ли?

— Где?

— Да за столом. Ты что, ослеп?

И тогда (о, какой это был восторг!) Степан неспешно вытащил из-под робы бинокль, на минутку одолженный у сигнальщика, навел его на Тенягина и неуверенно сказал:

— Кажется, вижу...

Вот тебе и увалень! Вот тебе и тихоня!

Вовк работал, не зная усталости. Он все время чего-то делал, и казалось, его карманы лопались от мотков изоляционки, кусков проволоки, отверток, щипчиков, плоскогубцев... Однажды вскользь Званцев сказал об этом за ужином, и Ратанов пожал плечами:

— Трудолюбие — это, Степан Григорьевич, норма поведения, а не предмет для изумления, да! Тем более Вовк, кажется, из крестьян?

— Да, — ответил Званцев. — Деревня Ручьи, Гродненской области.

— Ишь ты, как знаешь биографию своего «крестника». Ну, а вот Тенягин, например, откуда?

И Званцев, не моргнув глазом, ответил: «Ленинград, улица Ракова, один. Знаешь такой старинный дом с колоннами? Архитектор Руска, конец XVIII века...»

— Память же у тебя, — смутившись, буркнул командир.

Все на корабле шло своим чередом. На неделю или даже на десять дней БО-270 уходил на дозорную линию и утюжил Финский залив. Стороной, по Большой дороге, шли транспорты и танкеры. Рыбаки тралили неподалеку на своих выдавших виды суденышках и плевали на шестибалльную волну. Упрямо дул холодный побережник, «большой охотник» покачивало, и кое-кто из новичков лежал пластом в кубрике... А Званцев волновался: как Вовк?

Степан ходил зеленый, растопыривая руки, когда корабль кренило, но ни разу не слег. И это тоже понравилось Званцеву: упрямя! Худо ему, конечно, очень, а держится.

— Держусь, — через силу улыбнулся замполиту Степан. — Вот только волны побаиваюсь. Ну как смое? А я плаваю...

Он даже показал, как он плавает: буль-буль... То есть не совсем буль-буль, по-собачьему, конечно, он может немного, у них в деревне была речушка... Но то — речушка, где в любом месте можно достать до дна, а другое дело — море.

Званцев приказал мичману строго следить, чтобы в походе Вовк не появлялся на палубе без надувного спасательного жилета.

Прошел месяц. И в октябре на БО-270 произошло ЧП. Виновник был один — Степан Вовк...



Прежде чем выйти в открытое море на дозорную линию, Ратанов повел корабль к одному из островов, закрывающих северный участок границы. Островок был невелик и походил на подкову: внутри подковы — в бух-

те — был сделан пирс, а от пирса до ПН — поста наблюдения — матросы проложили дорогу. Места здесь были знаменитые своей рыбалкой и охотой, и Ратанов думал, что хорошо бы ему, улучив день, смотаться сюда, походить с ружьишком в прибрежных камышах и вернуться с парой уток.

На ПН нужно было доставить почту, ящик с кинолентами, хлеб и электробатарей. Мичман Жадов уже поделил команду: восемь человек понесут все это на пункт наблюдения. Ну и оттуда, конечно, придет несколько матросов.

— Только без всяких перекуров, — сказал мичману Ратанов. — Одна нога здесь, другая там.

Тенягин, который стоял рядом и слышал распоряжение командира, все-таки пробормотал:

— Всякое большое дело начинается с маленького перекура, товарищ капитан второго ранга.

Ратанов даже не взглянул на него, зато мичман Жадов так цыкнул на матроса, что тот сник и бочком бочком к пирсу, на котором ждали своих товарищей матросы с наблюдательного пункта...

Неожиданно Званцев сказал командиру:

— Знаешь, я, пожалуй, тоже прогуляюсь.

Лесной дорогой они вышли к ПН. Здесь Званцев не был еще ни разу и с любопытством осматривал здание пункта. Поднялся к радиометристам, заглянул в столовую, где стояли уютные столы и стулья — чистый модерн, ни дать ни взять кафе на Невском проспекте! Однако надо было спешить на корабль. Он вышел из здания и увидел, что ребята уже стоят, ожидая, и мичман здесь же с налитыми злостью глазами.

— Вовк исчез, — хрипло сказал мичман.

— Как это исчез? — спросил Званцев. — Куда здесь можно исчезнуть? Найти Вовка!

Его искали всюду: в казарме, в мастерской, у электриков. Нет парня. Разбрелись по лесу, и оттуда несло «ау!» — так перекликаются грибники, заплутавшие в незнакомой чаще... Вовка не было. Прошло полчаса, со-

рок минут, час... Званцев расхаживал взад и вперед по берегу, и случайно его взгляд упал на телегу. Простая деревенская телега с оглоблями стояла возле какой-то сараюшки. Пожалуй, не догадка, а смутное подобие догадки заставило Званцева подняться к сараюшке и открыть дверь...

Вовк, приговаривая что-то ласковое, чистил лошадь. Рыжая, с унылой мордой, лошадь стояла неподвижно, время от времени вздрагивая кожей, а Вовк тер ее бока и холку щеткой, проводил рукой по шерсти и тихо смеялся и говорил: «Вот так, родненькая... Еще малость, хорошая моя...»

Он спокойно поглядел на Званцева, когда тот вошел.

Ни удивления, ни испуга не появилось на его лице.

— Вот, — сказал Вовк, — довели. Паршиветь начала. Не умеют здесь с лошадьми обращаться!

— Между прочим, мы ищем вас почти час, — резко сказал ему Званцев. — Оставьте это занятие и идите на корабль.

Вовк нехотя отложил щетку, вытер ветошью руки и, потрепав лошадь по холке, сказал:

— Хорошая коняга... Неухоженная только.

На корабль возвращались молча. Все уже предчувствовали, какой нагоняй ждет Вовка. Только сейчас он и сам понял это. И лишь Тенягин негромко сказал:

— Ты попросись на ПН. Занимался бы подводой и числился подводником... Морская все-таки профессия.

Вовк, должно быть, не расслышал или не понял шутку.

Ратанов дал ему неувольнение на берег на месяц. Это было справедливо. А на следующий день мичман Жадов передал Званцеву рапорт:

«Прошу перевести меня на ПН, поскольку к морю привыкнуть не могу и сильно болею. Матрос Вовк».

— Ничего, привыкнет, — сказал Ратанов, узнав о рапорте. Впрочем, об этом рапорте узнали и матросы, и

шуткам снова не было конца. «Одни спешат к знакомым девушкам, а Два Степана — к знакомой лошади...» Тенягин очень гордился этим афоризмом и даже занес его в свою книжечку «Избранные остроты матроса Тенягина».

#### 4

Примерно через неделю или дней десять Званцев поссорился с командиром. Это была их первая ссора, тем острее переживал ее замполит. Причиной ссоры оказался Вовк.

Ратанов придрался к нему по какому-то пустяковому поводу; Вовк, переминаясь с ноги на ногу и глядя в сторону, сказал:

— Вот я и просил вас перевести меня.

— Служить будете там, куда пришли, — рявкнул Ратанов. — И запомните, здесь не детский сад, никто с вами нянчиться не будет и условий создавать специальных тоже никто не будет. Ну, а чтобы вы не возражали командиру — неувольнение на берег еще на полмесяца.

Званцев, узнав об этом от мичмана, вспыхнул. Разговор с командиром был коротким.

— Ты даешь волю чувствам, Кирилл. Командир не имеет права на такую волю.

— Слава богу, я знаю, каким должен быть командир. Пока что мой корабль лучший в дивизионе, и вообще во всех дивизионах округа.

— Ты полагаешь, что это только твоя заслуга?

— А ты полагаешь, что моей заслуги в этом нет?

— Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это не метод спора. Я хочу сказать тебе вот что: ты не имеешь права срывать злость на матросе, который почему-то тебе пришелся не по душе.

— Лошадник! — фыркнул Ратанов.

— Да. Он крестьянин, колхозник, и любит лошадей. Наказать его за ту историю стоило, не спорю. Но сейчас в тебе уже действует, так сказать, инерция недоброжела-



тельства. Пойми, что этим ты подрываешь свой авторитет командира — ведь ребята очень чутко реагируют на каждую, даже самую малую ошибку.

— Слушай, Степан, — вскинул на замполита глаза Ратанов. — Прекрати меня учить! Иначе...

— Что иначе?

— Будем ссориться.

— Будем! — отрезал Званцев. — Мы с тобой не муж и жена, так что нам ссориться не страшно.

— Даже разводиться, — усмехнулся командир.

— Если дело дойдет до этого, даже разводиться. А я тебе человека в обиду не дам. За дело ругай, накладывай взыскания — слова не скажу. А придираться по пустякам — это, дорогой мой, удел кухонной бабы в коммунальной квартире, но не офицера, не командира корабля.

Он ушел от командира, чувствуя, что еще немного и разговор принял бы куда более резкий характер. Хорошо, что он сам вовремя прервал его. Вечером он встретился с командиром в кают-компании за ужином. Ратанов был неразговорчив, хмур, и ужин прошел в тягостном молчании. Но Званцева беспокоило не это. Он знал, что командир отходчив, ну, подуетса до завтрашнего утра — и все. А вот как поведет себя дальше Вовк? По долговому своему опыту Званцев знал, что такие истории надолго выбивают молодых людей из колеи: они теряют веру в себя, в свои силы, а обида только усугубляет эту потерю. Поэтому сразу же, едва Вовк сменился с вахты, Званцев вызвал его к себе.

Он начал прямо, без обиняков.

Он говорил, что надо подтянуться, а не держать себя таким увальнем. Что командир прав: надо служить там, куда тебя послали. Говорил — и чувствовал, что все эти слова проходят мимо матроса и что он слушает сейчас не его, а какой-то свой внутренний голос, а этот голос противоречит тому, что говорит Званцев. И Званцев оборвал себя, потому что больше всего он не любил вот такие

сухие разговоры, которые проходили впустую, как проходит вода в сырой песок, не оставляя никаких следов.

— Слушайте, Степан, — сказал он. — А что вы больше всего любите... кроме лошадей?

Вовк поднял на него удивленные глаза. Это обращение по имени и неожиданность вопроса обескуражили его, и он ответил не сразу:

— Ну, много чего люблю... Грибы собирать люблю, рыбу удить... У нас, знаете, какие линии берут? Как поросята, честное слово... Сено еще люблю скирдовать. Иволгу слушать люблю, — здорово у нас поют иволги... Книжки люблю очень. Не всякие, конечно, а хорошие.

Он перечислял все это с таким уважением, будто и грибы, и иволги, и скирды сена, и книжки были его ближайшей родней, сейчас далекой от него и поэтому еще более притягательной.

— А людей? — тихо спросил Званцев. — Людей вы любите?

— Это само собой разумеется, — качнул головой Вовк.

— Знаете, — задумчиво сказал Званцев, — когда я первый раз в жизни попал на государственную праницу, у меня было такое ощущение, будто я один в ответе за каждого человека, живущего у нас в стране. Мне казалось, что, если не я, не может спокойно спать ребенок, не может трудиться рабочий, учиться студент, открывать какую-нибудь новую тайну природы ученый... Странное это было чувство. Впрочем, когда мы выходим на дозорную линию, это чувство возвращается ко мне всякий раз. — Званцев помолчал, подумав. — Мне кажется, Степан, что вот это, должно быть, и есть любовь к людям. Понимаете, ко всем нашим людям. А вы вот... — Он снова помолчал, подыскивая нужные слова и не нашел ничего лучше, как повторить: — Иволги, грибы...

Разговор этот был, что называется неофициальный — так просто, беседа по душам в свободное время. Поэтому Вовк мог и поспорить, — ему не хотелось, чтобы о нем думали если не плохо, то хотя бы предубежденно.

— Кстати, товарищ капитан-лейтенант, любить родную природу тоже не так уж плохо, — глядя в сторону, в иллюминатор, сказал он. — Выходит, зря вы про иволги и грибы-то...

— Нет, не зря, Степан! Иволги и грибы есть и там, за границей. И любители птичьего пения там тоже водятся в изобилии. Главное же в природе — человек. Я не понимаю людей, которые могут, разинув рот, стоять как истуканы и слушать птичий щебет. Просто так стоять и слушать. Я хочу знать, понимаете знать, что за птица? Как живет? Что сделать, чтобы не разоряли ее гнезд? Вот так-то, дорогой мой. Но, по-моему, мы куда-то не туда забрались, а? Зачем это я вас позвал?

— Мораль прочитать, — буркнул Вовк. Званцев поглядел на него пристально и понял, что вот сейчас, именно сейчас, Вовк захлопнет свою душу, как улитка захлопывает раковину.

— Нет, — сказал Званцев. — Вспомнил. Вот я письмо получил, прочитайте-ка.

Вовк читал письмо, недавно полученное Званцевым. Писала незнакомая ему девушка — работница ленинградского завода, который шефствовал над дивизионом. Почерк у нее был еще «школьный», аккуратные букочки так и лепились одна к другой, а вот мысли у девушки были взрослые.

«В чем же смысл жизни, — спрашивала она, — если человек, которому ты верил, которого любил, оказался просто-напросто негодяем? Я верила одному парню, с которым была знакома почти год... А теперь во что верить? Если не трудно вам, обсудите мое письмо с моряками — у вас все молодые парни, что скажут они?»

Вовк прочитал письмо и аккуратно сложил его.

— Ну? — спросил Званцев. — Что вы скажете, если я попрошу вас ответить девушке?

— Меня? — не то удивился, не то испугался Вовк. — Почему меня?

— Потому что мне кажется, что вы человек разумный, рассудительный и... — Званцев на секунду помед-

йл, — словом, правильный. Так что напишите девчонке и, если захотите, покажите мне.

Вовк ушел. Еще минуту Званцев сидел неподвижно, а потом вздохнул и подумал: ничего. Выкарабкается. Не замкнется. Ну, а в случае чего разомкнем...

## 5

Отправить письмо девушке-ленинградке Вовк не успел. «Большой охотник» срочно вышел на дозорную линию: сообщили, что надвигается непогода, а по фарватеру все идут и идут иностранные транспорты.

Неотправленное письмо Вовк принес Званцеву. Там были одни общие слова, нудные, как зубная боль. «Надо верить людям...» «Не на одном Вашем парне свет клином сошелся...» «Время все вылечит...»

Званцев, с досадой прочитав это письмо, вышел на палубу и поднялся на мостик. Свежий ветер сразу ударил в лицо, распахнул полы теплой «канадки». Ратанов стоял на мостике, негромко отдавая команду рулевому, и тот локтем, пижонски, трогал рукоятки управления.

Когда Званцев встал рядом, командир покосился на него и спросил:

— У тебя чего-нибудь случилось?

— С чего ты взял?

— Вид у тебя расстроенный.

— Так, ничего особенного. Прохлоп один получил. — И перевел разговор: — Какие новости?

Новостей не было. Берег передавал, что по фарватеру идут два западногерманских лихтера; через час пройдет один «швед» и караван наших сухогрузов. Шесть финских тральщиков ловят рыбу в конвенционных водах. Поблизости тралят наши, нужно проверить судовые роли и порт приписки: вероятней всего, сюда зашли рыбаки из Нарвы... Словом, все, как обычно.

— Шел бы ты к себе, — сказал Ратанов. — Отдохни малость. С досмотровой командой тебе придется идти, наработаешься.

Но Званцев ушел не сразу. Он любил стоять здесь, на мостике, в часы, когда на душе было неспокойно — море всегда успокаивает... И все-таки его раздумья были тяжелыми. Почему Вовк оказался — если судить по этому письму, — таким сухим, черствым, в сущности, человеком? Значит, он, Званцев, ошибся в нем? Просто придумал себе совсем другого человека.

— Так что же все-таки случилось? — снова спросил командир.

И Званцев рассказал ему об этом письме, наперед зная, какую реакцию этот рассказ вызовет у Ратанова, и не ошибся. Ратанов усмехнулся.

— Не сотвори себе кумира, как сказано в библии.

— Ишь ты! — усмехнулся в ответ Званцев. — Какие ты произведения цитируешь! А, может, все вовсе и не так? Ты представь себе: Вовк — человек молодой, жизни не знает и с таким вот человеческим горем встретился впервые. Понятно, что сразу не дошло до него, — и пошел парень шпарить фразами, вычитанными в плохих, хотя внешне вполне правильных, книжках. Может так быть?

Он начинал сейчас резкий спор не с командиром, а с самим собой. Ему казалось, что он должен найти какое-то оправдание той душевной черствости, которая так неприятно поразила его в письме Вовка. То, что он говорил Ратанову, было в какой-то степени таким оправданием. Просто Званцев не мог и не хотел до конца признать свою ошибку. Очень тяжело ошибиться в человеке.

На этот раз море не успокоило его. Он вернулся в каюту, лег и напрасно заставлял себя заснуть — сон не шел. Тогда он поднялся и, выйдя на палубу, попросил пробежавшего Тенягина вызвать к нему Вовка.

Опять, как несколько дней назад, Вовк стоял, переминаясь с ноги на ногу. Да, он знает, что написал сухое письмо. Он не умеет писать других — вот и все.

— Значит, вы черствый, сухой человек? — тихо спросил его Званцев. — Значит так, если вас не затронула

беда вашей сверстницы. Что ж, обидно. Обидно, что я ошибся в вас.

Вовк вздрогнул, когда Званцев произнес эти слова. Поспешно, будто его могли остановить и попросить выйти отсюда, Вовк заговорил и рассказал, что он написал другое письмо, только постеснялся принести его... Да, оно там, в кубрике, но письмо это — сплошные каракули, так что лучше он принесет его после вахты, а там судите, как хотите... У него даже слезы выступили на глазах — не то от обиды, не то от волнения. Званцев, отвернувшись, сказал:

— Идите, товарищ Вовк.

Он заснул все-таки. Волна бережно валила корабль с одного борта на другой, и Званцев чувствовал себя, как в огромной люльке. Топот ног пробегающих по палубе матросов, гул машины под палубой не тревожили его, и, проснувшись, он еще долго не открывал глаз, прислушиваясь к этим знакомым звукам.

И вдруг внезапно, словно бы подминая под себя все эти привычные звуки, раздался сигнал боевой тревоги, и Званцев выскочил на палубу, на ходу надевая «канадку». Будто не было полутора часов сна: тяжелая, давящая тревога охватила его сейчас, и он не сразу даже заметил, что на море волна поднялась сильнее, а дождь встал непроглядной белесой пеленой.

Подняться на мостик было секундным делом, и, только оказавшись там, наверху, он мало-помалу начал соображать, почему командир объявил боевую тревогу.

Расплывчатый силуэт рыболовной шхуны проступал сквозь дождь с левого борта.

— Каким курсом нам идти? — донеслось оттуда. Ратанов ответил через мегафон. — Спасибо, — послышалось с моря. — Счастливо вам! Будьте осторожны! Счастливо!..

Шхуна ушла, словно растворилась, растаяла в этой холодной октябрьской мути...

— Мина, — коротко сказал Ратанов.

«Большой охотник», казалось, не двигался. Окружен-

ный со всех сторон густой пеленой мелкого дождя, он будто бы неподвижно застыл среди опромного и страшного пространства, где вот точно так же, покачиваясь на волне, плыла замеченная рыбаками мина. Они обнаружили ее примерно час назад, еще до того, как начался дождь, и бросились прочь, подальше от верной гибели. Невидимая, она плыла своим слепым путем, холодная, какими бывают только змеи, так же, как и они, молчаливо несущая свою смертельную начинку.

— Большой фарватер рядом, — сказал Званцев.

— Да, — ответил Ратанов. — Если б не этот дождь...

— Ты уже сообщил?

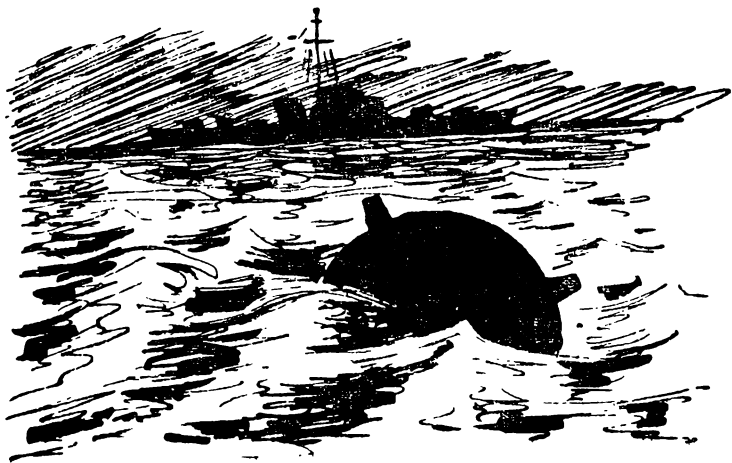
— Сообщил.

— Что ответили?

— По обстановке.

Оба замолчали. Сейчас они понимали друг друга даже в этом молчании. Они думали сейчас об одном и том же...

«...Я хотел сказать, что это невысказано — найти сейчас мину и расстрелять ее. В этой белой пелене ее про-



сто невозможно было обнаружить, разве что только случайно. Но случайность могла стоять всем нам жизни. И я не сказал Ратанову ничего. Мы должны были найти мину. Понимаете — обязаны были разыскать эту сволочную железку, потому что рядом был Большой фарватер, и по нему все время шли наши и чужие...

Страх? — спросите вы. Человек всегда испытывает страх перед смертью. Полностью бесстрашных людей не существует. Но есть, очевидно, в душе силы, которые словно бы приглушают, если хотите, обезвреживают его. Я не знаю, как эти силы называются, — быть может, чувство долга, что ли. Но дело не в этом. Я не испытывал особенного страха, и Ратанов тоже. Он поглядел на меня, я — на него. И этого было достаточно. Мы рисковали многим, но мы должны были сделать это...»

Чувства движения не было, и время словно бы остановило свой ход. Званцевым владело странное ощущение нереальности всего происходящего. Так бывает во сне, когда образы смещаются, превращаясь в фантасмагорические фигуры, за которыми невозможно уследить — они появляются и исчезают в настороженной тишине. То же самое происходило и сейчас: из дождевой пелены медленно выкатывались волны и уходили, качнув корабль, их место занимали другие, а дождь закрывал даль, где они рождались.

Потом это неприятное чувство прошло, все встало на свои прежние места. Господи, да такую ли погоду доводилось видеть Званцеву! Похуже случалось, и ничего ведь, выдерживали все. Стало быть, дело вовсе не в погоде, а в том, что ожидало всех их — от командира корабля до кока — в это ближайшее время.

Званцеву казалось, что прошла целая вечность. Он поглядел на часы: большая стрелка успела пробежать всего полкруга, значит всего только полчаса, как они начали искать эту проклятую мину. Двое впередсмотрящих едва были различимы с мостика — две фигурки, зябко кутающиеся в теплые куртки. Акустики и радиометристы (Званцев не видел их) замерли у своих прибо-



ров. Все, кто свободен от вахты, были на палубе: приказ командира... Званцев нехотя надел под куртку ярко-оранжевый спасательный жилет: тоже приказ командира.

Потом, еще раз взглянув на часы, он с удивлением увидел, что прошло уже почти полтора часа, а он даже не заметил, как быстро они проскочили. Время от времени раздавался чей-нибудь голос: «Справа по борту плавпредмет» или «Слева по борту плавпредмет» — и тогда он рывком переносил себя то на правую, то на левую часть мостика. Но это были ящики из-под салаки, должно быть смытые волной с палубы рыболовной шхуны; мелькнул и остался за кормой бочонок; как огромный поплавок, показалось бревно, стоящее торчком...

В эти секунды сердце Званцева замирало, а потом начинало стучать с удвоенной силой. «Неужели трушу?» — спросил он себя. Нет, это был не страх. Им владело то нервное напряжение, которое не находило себе выхода. И с каждым на корабле сейчас происходило то же самое: огромное нервное напряжение, и ничего больше.

— Слева по борту плавпредмет!

И сразу же чей-то высокий, срывающийся крик:

— Мина-а-а!..

Кто-то не выдержал этого напряжения. Мина была близко. Совсем рядом. Она словно бы вынырнула из туманной мглы и, покачиваясь на волне, шла на корабль.

И опять все было, как во сне, когда пропадает чувство реального. Крик, и содрогнувшееся тело корабля (это Ратанов резко перевел ручку машинного телеграфа на «Полный вперед»), и чья-то фигура, словно бы перелетевшая через палубу туда, в море, в волну, навстречу черной мине, и снова крик: «Человек за бортом!»

Званцев кинулся по трапу вниз, на палубу. А сверху уже премел голос Ратанова.

— Вывалить шлюпку! Всем стоять по местам!

Корабль быстро уходил прочь. Мина была еще видна. Но между ней и кораблем виднелись голова и ру-

ки человека. Человек плыл навстречу мине. Он хотел преградить ей путь — это Званцев понял сразу...

Мичман Жадов вывалил шлюпку, и шлюпочная команда заняла свои места. Жадов отлично знал мины — на его счету было уже восемь таких мерзавок, подорванных в море. Эта должна была стать девятой... Но, спускаясь сейчас в шлюпку, мичман успел шепнуть Званцеву:

— В случае чего, товарищ капитан-лейтенант... Словом, сами знаете...

— Идите, мичман, — зло сказал Званцев. — Не раскисайте.



... Был взрыв там, далеко за пеленой дождя. Он прозвучал глухо, будто из-под толщи воды, отозвавшись в каждом отсеке корабля металлическим звоном. Были еще поиски шлюпки, и ликующее «Вон они!», и пошатывающиеся матросы на палубе, и мичман Жадов, пытающийся закурить дрожащими руками.

Степана Вовка начали раздевать тут же, на палубе. Одежда плотно облепила его тело. Он словно бы одеревенел от холода, и робу с него приходилось стаскивать силой. Потом его совсем голого увели на камбуз. Там было жарко, и Степан уснул, привалившись головой к стенке. На него набросили два одеяла, укутали, как младенца, и он даже не пошевелился.

На мостике мичман Жадов доложил командиру, что мина подорвана, а потом, подумав, добавил:

— На нас шла, сука. Если б не Степан...

— Знаю, мичман.

— Между прочим, плавает-то он неважно... А жилет надуть забыл. Не до жилета ему, видимо, было. Мы, когда подплыли, увидели, что он одной рукой мину отталкивает, а другой загребает по-собачьему... Словом, черт его знает, как уцелел парень...

Ратанов молчал.

Званцев спустился вниз. Ребята потрошили карманы

мокрой робы Степана, и оттуда сыпались куски проволоки, кусачки, какие-то железки, и наконец выпал на палубу сложенный листок бумаги. Званцев нагнулся и поднял его. Лиловые чернила расплылись на бумаге пятнами

— Высушите и это, — попросил Званцев. Он знал, что ему делать. Он пошлет это письмо той девушке, хотя, наверно, уже невозможно прочитать, что там написано. Он пошлет это письмо вместе со своим и расскажет девушке, как надо жить: жить для других, а не ковыряться в собственной душе.

А Степан спал, во сне причмокивая губами. Мокрые пряди волос прилипли к его лбу. Званцев стоял посреди тесного камбуза и чувствовал, что вот-вот заплачет. Клубок стоял в горле, и его никак было не проглотить. Протянув руку, Званцев убрал волосы со лба Степана и, нагнувшись, поцеловал парня. Никто этого не видел...



Вечером Ратанов вызвал Степана к себе. Тот выспался; неглаженная роба висела на нем. Вовк, нагнувшись, вошел в каюту командира, и Ратанов шутливо проворчал:

— Думаешь, хвалить буду? Ругать буду. Кто тебе разрешил покинуть судно? Выходит, в самоволку сбежал?

Вовк понял шутку и, облегченно вздохнув, выпрямился. Раздался стеклянный треск, и Ратанов, махнув рукой, крикнул:

— Все. Последний плафон, чтоб тебя... Ну зачем тебя мама родила таким длинным, скажи ты на милость!

## 6

Вы, наверное, думаете, что у этого рассказа может быть другой конец? — спросил меня Званцев. — Можно было бы придумать и другой. Например, как Степан познакомился с той девушкой, ну, а раз познакомился, стало быть, любовь и все такое... Нет, ничего не надо придумывать. Он не познакомился с той девушкой. Месяц он пролежал в госпитале с крупозным воспалением

легких, потом получил отпуск, жил дома, в деревне. Его наградили медалью «За отвагу».

И вот однажды зимой, когда корабль стоял на базе вахтенный закричал:

— Братва! Два Степана приехал!

Его тискали, обнимали, хлопали по спине, его разрывали на части, а он стоял, растерянный, и только улыбался. И надо было видеть, сколько счастья было на его лице.

Потом он пришел ко мне и, переминаясь с ноги на ногу (ох, уж эта привычка!) сказал:

— Товарищ капитан-лейтенант, меня тут доктора вроде бы забраковали... На сушу списывают вроде бы... Так вы бы заступились за меня, а? Смех ведь один — моряку на суше, сами понимаете...

### **Куст белой сирахаги**

— Вы не замечали, — спросил меня Званцев, — что когда друзья рядом, когда в любой час ты можешь встретиться с ними, это даже не волнует тебя? Все привычно! А вот когда друг так далеко, что даже письмо к нему не дойдет и ответа не будет, сердце начинает ныть... У меня есть такой друг. Я не видел его, кажется, тысячу лет. И, наверно, никогда уже больше не увижу... Даже его фотографии у меня нет, так что не могу вам показать.

Он японец. Звали его Синдо.

### **1**

На Дальний Восток Званцев приехал сразу после окончания училища. Был он в новеньком, только со склада, кителе с новенькими лейтенантскими погонями — совсем еще мальчишка, ужасно гордый своим новым положением. Он забросил чемодан на багажную полку, там чемодану предстояло пролежать всю дорогу. Больше у него вещей не было — всего один чемодан, наполовину

набитый книгами. Самостоятельная жизнь для Званцева должна была начаться там, на неведомом Дальнем Востоке.

На Дальний Восток он напросился сам. При распределении туда не посылали, он это знал, и можно представить, как обрадовался, когда начальник училища вызвал его и сказал:

— Вы, кажется, хотели на Дальний? Поедете на Дальний. Только в морские части погранвойск.

Званцев вытаращил глаза: он ведь кончал артиллерийское училище! Начальник улыбнулся и махнул рукой: идите. И вот теперь выпускник артиллерийского училища ехал на Дальний, и на нем была морская форма, и один-единственный чемодан при нем, и все впереди... Приятно вот так начинать жизнь в двадцать два года!

Целыми днями он простаивал у окна. Мелькнул белый столб с надписями «Европа» и «Азия». За Уралом потянулась однообразная равнина с корявыми березами. А ему-то казалось, что вся Сибирь — сплошная тайга! Но тайга началась позже, через несколько дней. Однажды он увидел оленя и вскрикнул от неожиданности. Олень вышел из тайги и стоял, подняв рогатую голову, словно ожидал, когда наконец пройдет поезд и он сможет перейти железнодорожное полотно...

На какой-то станции неподалеку от Читы поезд застрял надолго, и уставшие от длинной дороги пассажиры вышли из вагонов. Вышел и Званцев. Словно опьяненный свежим воздухом, он шел к лесу, нагибаясь и срывая огромные красные цветы, похожие на пионы, — Марьин корень. Неожиданно из густой травы, словно подброшенные пружиной, вскочили два человечка в выцветшей, аккуратно залатанной одежде и согнулись в поклоне. Званцев опешил.

Это были пленные японцы. Должно быть, ни работали здесь, на станции, и сейчас у них был перерыв — вот они и завалились вздремнуть в траве. Так Званцев впервые увидел японцев. Потом он видел много пленных

из окна вагона. Пленные работали на дороге — укрепляли полотно, рыли дренажные канавы...

К месту своей будущей службы — в пограничный дивизион на острове К. — Званцев добрался лишь через месяц. К осени. Собственно, дивизиона еще не было. В бухте возле пирса стояли тральщик и три старых катера. Под сопкой, словно прижавшись к ее мохнату, поросшему елками телу, лежал большой поселок. Пограничники должны были построить несколько зданий, пирсы, мастерские — здесь, на островах, мы становились навсегда...

В воздухе остро пахло гнилыми водорослями. Волна, набегая на берег, лениво уползала назад, и тогда вслед за ней, боком, торопясь и словно бы спотыкаясь, бежали крабы. Тишины не было: океан гудел, набегая на остров, и, казалось, невозможно было привыкнуть к этому однотонному, нескончаемому гулу. Но через несколько минут Званцев привык и не слышал, как гудит океан.

Он остановился в маленьком доме рыбака-переселенца, в крохотной комнатке с узким, как бойница, окошком. Рыбак жил здесь уже полгода, был он инвалидом: потерял на войне глаз, и обезображенное шрамом, одноглазое лицо казалось жестоким и злым. На самом деле он был редкой души человек, Иван Силантьевич Боровиков. Поблескивая глазом, он говорил Званцеву:

— Ты, лейтенант, молодец, что сюда приехал. Богатейший край! Трудно, конечно, океан дело не шуточное, но зато красота-то какая!

Он любил красоту, Боровиков. И угощал Званцева соленой лососиной.

Из поселка время от времени увозили японцев. На острове работала комиссия, и их отправляли партиями сначала на материк, потом в Японию. А с материка те же пароходы привозили переселенцев, в основном рыбаков и лесорубов. Они занимали пустые дома, и в распадке, в стороне от поселка, росла гора японских железных кроватей, узеньких и коротких, похожих на детские.

Как-то раз, вернувшись домой, Званцев увидел го-

стя. Маленького роста японец сидел с Боровиковым за столом, на котором стояла бутылка какой-то мутной жидкости и миска с жареной рыбой. Боровиков был заметен под хмельком. Когда Званцев вошел, Боровиков кивнул ему:

— Знакомься, лейтенант. Это Синдо. Мировой, доложу тебе, мужик!

Японец начал быстро-быстро кланяться, прижимая руки к груди и выпячивая в улыбке крупные, выступающие вперед зубы.

— Синдо, Синдо... Милавой мужик.

Пить самогон Званцев не стал, ушел в свою комнату. То, что в доме появился японец, его насторожило, и он разозлился на хозяина: зачем приглашать в дом чужих, когда здесь живет советский офицер. Черт его знает, что это за японец. Званцеву уже рассказывали, как, уезжая с материка, один такой рыбак, ни слова не понимавший по-русски, обратился к нашему офицеру на чистейшем русском и попросил прикурить. А когда тот ошалел от неожиданности, «рыбак» усмехнулся и начал читать Пушкина: «Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной ты катишь волны голубые...»

Так что к этим рыбакам нужно приглядываться, но уж во всяком случае не у себя дома, и к тому же за выпивкой...

## 2

Синдо пришел через несколько дней и принес Званцеву подарок — зажигалку, сделанную из гильзы от крупнокалиберного пулемета. Подарка Званцев не взял. Синдо расстроился и, повертев зажигалку, выбросил ее в открытое окно.

— Зря обидел человека, — сказал Званцеву Боровиков, когда Синдо ушел. — Он свой парень. Большой очень, поэтому его и в армию не взяли. Ты поговорил бы с кем надо, лейтенант, чтобы Синдо не отправляли в Япо-

нию. Не хочет он ехать туда. Он здесь много лет прожил.

— Мало ли что он хочет, — резко ответил Званцев.

— Он хороший парень, — упрямо повторил Боровиков. — Не хочешь, я сам пойду просить за него. Ясно?

Боровиков обратился в комиссию — ему отказали. Тогда он вытащил из сундука слежавшуюся гимнастерку, долго прикреплял к ней ордена и медали: Боевое Красное Знамя и два ордена Славы на черно-оранжевых ленточках и медаль «За взятие Вены»... Торжественный, Боровиков появился перед командиром дивизиона, а вышел от него потускневший, словно слиявший. Командир даже слушать его не стал. Ведь вопрос о переселении японцев не в его компетенции — это раз, а во-вторых... Во-вторых, он посоветовал Боровикову не лезть не в свое дело. Повыше его есть люди, и они знают, что правильно и что неправильно.

В этот день Боровиков ушел к Синдо, прихватив бутылку самогона. Домой его привел Синдо, и Боровиков тяжело повалился на топчан. Званцев слышал из своей комнаты, как Боровиков бормотал:

— Ах ты, парень, черт тебя подери... Ну, на кой леший ты родился японцем, а? Рыбачили бы вместе, а? Жили бы — во!..

— Во! — повторил Синдо. Впрочем, Боровиков тут же тяжело захрапел, и Званцев вышел, чтобы посмотреть, ушел ли Синдо. Японца в комнате не было. Званцев выглянул за дверь. Синдо сидел на корточках, прижавшись к дому, и плакал, закрыв лицо руками. Худенькие, острые, как у подростка, плечи мелко тряслись, и Званцев тронул его рукой.

— Ты чего, Синдо?

— Дом Синдо здесь, — ответил японец. — Синдо не нада Нипон. Помоги, капитана. Синдо друг — вот.

Он протянул к Званцеву руки, повернув их ладонями вверх. Званцев увидел, что ладони почти коричневые. Он положил свою руку на руку Синдо и почувствовал, что ладонь японца словно покрыта твердой рогамицей.



Это были мозоли — одна сплошная мозоль, от которой плохо сгибаются пальцы. Такие руки бывают только у тех, кто всю жизнь работает. Отец Званцева был до войны слесарем на Балтийском заводе, и у него были точно такие же руки...

— Не могу, Синдо, — тихо сказал Званцев. — Не могу я вмешиваться в это дело. Ну, никак не могу.

Синдо смотрел на него, не отрываясь. Черные глаза японца были блестящими от слез. И Званцеву вдруг передалась эта тяжкая, острая, как боль, тоска человека, которого отрывают от родного дома. Он отвернулся. Он не мог больше смотреть на плачущего мужчину. Когда он повернулся снова, Синдо уже не было рядом. Японец уходил, сгорбившись, бесшумно ступая по камням. Только теперь Званцев увидел, что Синдо хромот, тяжело опираясь на правую, вывернутую ногу.

Сам не понимая, зачем он это делает, Званцев пошел за ним. Синдо слышал, конечно, что советский офицер идет следом, но не оборачивался. Так они дошли почти до конца поселка, и только у своего дома японец обернулся и показал на дверь, приглашая войти.

Но Званцев не спешил. Он оглядел дворик: здесь лежали тюки с морской капустой, на шесте болталась бумажная рыбина. «Наверное, чтобы отгонять злых духов», — решил Званцев. Но он ошибся. Японцы вывешивают на шестах бумажные рыбы в день «праздника мальчиков».

Синдо пропустил его вперед, и, когда глаза привыкли к полумраку комнаты, Званцев увидел сначала множество циновок. Циновки были на полу, на окнах, на стенах. И еще — жаровня в углу вместо печки («холодно, должно быть, здесь зимой», — подумалось Званцеву), а в другом углу что-то вроде гитары. Синдо перехватил взгляд офицера и объяснил:

— Самисэн. Капитана гость — Синдо играй.

— Не надо, Синдо, — сказал Званцев. Бедность, почти нищета этого жилья отзывалась в нем физической болью. И если человек не хочет оторваться от этой

бедности — стало быть, ничего лучшего он не ждет и на своей родине. А здесь... Что ж, сейчас на острова пришли другие времена, и, если Синдо останется, он сможет жить по-человечески...

— Я попробую, Синдо, — тихо сказал Званцев. — Ты понимаешь меня? Я попробую.

— Спасибо, капитана, — так же тихо ответил Синдо.

Но помочь Синдо так и не удалось. В конце сентября он уехал на материк, увозя с собой тюк с постелью и посудой, свой самисэн, связку сэнка<sup>1</sup> да еще фуросики — цветной платок, в который была завернута еда на дорогу. Боровиков провожал Синдо до парохода. Возле пирса они и встретились со Званцевым.

— Нет Синдо, — сказал японец. — Ты хороший капитана. Синдо еще будет здесь. Не хочешь подарок — Синдо не хорошо. Подарок есть потом — сирахаги. Самая красивая сирахаги.

Он уехал.

Боровиков не знал, что такое сирахаги. И спросить об этом было не у кого — с острова уехали последние японцы.

— Странно, — сказал Званцев. — Вы с ним такие разные, а вот ведь — подружились!

Боровиков старательно отворачивался от Званцева, но тот заметил, что Иван то и дело вытирает слезящийся глаз. Или это от ветра?

— Он, между прочим, меня из воды вытащил, — объяснил Боровиков. — Еще весной, в мае. Если б не Синдо, кормил бы я сейчас крабов. Вот так-то...

Пароход вышел из бухты, а Синдо все еще был виден. Он стоял на палубе, на корме, — неподвижная крохотная фигурка в белой соломенной шляпе. И если существует бог печали, то его изваянием был сейчас маленький хромой японец на палубе «Отто Шмидта»...

---

<sup>1</sup> Сэнко — палочки, которые зажигают в день поминок. (Прим. автора).

Тот, кто хоть месяц провел на Дальнем Востоке, знает, что жизнь там нелегкая, и особенно нелегка она у людей, связанных с морем. Званцев мог бы многое рассказать о годах, проведенных на Дальнем. Штормы и бураны — это еще полбеды. Он помнит цунами, задевшее остров К. И жертвы были, и тупое, отчаянное ощущение беспомощности перед стихией, когда хочется заплакать, закричать во все горло, да нельзя... Пограничники спасали рыбаков, унесенных штормом. Спасли не всех. Среди погибших был и Боровиков. Сам Званцев — в ту пору уже замполит на тральщике — свалился с тяжелейшим воспалением легких и еле выкарабкался на свет божий, — вот что такое Дальний...

Званцев не вел счет задержаниям, в которых ему доводилось участвовать. Старый тральщик делал свое дело: пограничники вылавливали браконьеров на лежбищах котика, задерживали рыболовные суденышки японцев, забравшиеся в наши воды, дважды открывали огонь по неизвестному катеру, который норовил пройти к материку... С катера открывали ответный огонь. Все бывало...

И все-таки каждый раз, когда моряки задерживали рыбацкие суда, Званцев неизменно разглядывал всех членов команды — усталых, с измученными, бесстрастными лицами рыбаков — в тайной надежде обнаружить среди них Синдо. Шли годы. Званцев уже был капитан-лейтенантом. Один из катеров вернулся из похода, таща за собой рыболовное суденышко. Званцев смотрел из окна штаба, как швартуется кагер, а затем на пирс сходят наши матросы и задержанные рыбаки. Вдруг он вскрикнул: один из рыбаков шел, тяжело припадая на вывернутую ногу...

Он не ошибся. Это был Синдо. Низко кланяясь и прижимая руки к груди, Синдо заплакал, увидев Званцева.

— Штраф не нада, капитана. Синдо бедный, она бедный, и она тоже бедный. — Он показывал на остальных

рыбаков. — Плоха, плоха. Рыба нет. Раса нет. Фуросики совсем пусто...

И встряхивал своим фуросики — пестрым платком, словно желая подтвердить, что есть им нечего.

Было ясно, что они забрели в наши воды не преднамеренно, и рыбаков отпустили, накормив «расходом» — дневными остатками дивизионного камбуза. Но, все так же низко кланяясь, Синдо попросил разрешение посмотреть его дом. Званцев пошел с ним.

Синдо почти бежал, подпрыгивая на изуродованной ноге. Дошел до того места, где стоял когда-то его дом, и остановился. Теперь здесь красовался огромный домина, срубленный из лиственниц, добротный, по-сибирски крепкий, ставленный, как говорится, навек. Жила здесь рыбацкая семья. Синдо только беспомощно вертел головой, словно недоумеая, куда мог деваться его домишко.

— Зайдем? — предложил Званцев.

Синдо осторожно подошел к крыльцу. Очевидно, их увидели раньше, потому что дверь распахнулась прежде, чем они поднялись по ступенькам. Хозяйка пригласила их в дом с тем радушием, с каким здесь встречают всякого пришедшего.

Званцев смотрел, как Синдо вошел в сени, а потом в нерешительности остановился у порога.

— Вы входите, входите, — сказала хозяйка.

«Как кошка идет», — подумалось Званцеву. Это кошка обычно так робко входит в незнакомый дом. Синдо напоминал кошку, боящуюся перейти из темных сеней в светлую комнату.

Потом Синдо стоял посреди комнаты и медленно обводил глазами стены, мебель, вещи, лежащие на комод, игрушки, брошенные на полу... Казалось, он хотел запомнить все, что было здесь. Увидев приемник, он вздрогнул, протянул руку и погладил лакированную крышку.

— Спасибо, — сказал он наконец, поклонившись хозяйке. — Спасибо...

— Садитесь, я сейчас чай поставлю.

— Не нада чай, пора, пора, — торопливо пробормотал Синдо. — Спасибо.

Он выскользнул в сени, потом на улицу и вот опять почти бежал, подпрыгивая, словно гонимый отсюда. Званцев не побегал за ним. Синдо обернулся и крикнул:

— Твоя рыбак — хорошо! Моя рыбак — плохо! Подарок потом Синдо даст капитана!.. Синдо помнит: белая сирахаги...

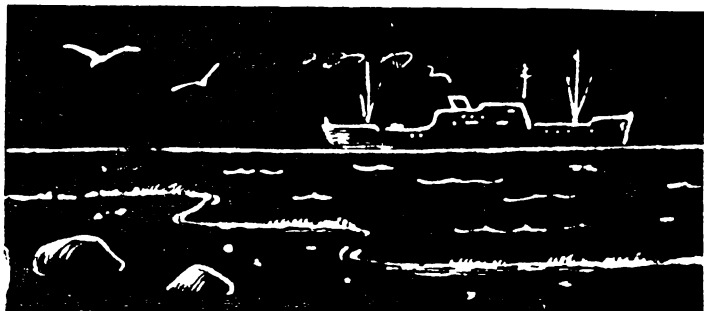
...И он привез белую сирахаги, странный кустик, который расцвел потом в квартире Званцева белыми цветами, похожими на гвоздику. Синдо сдержал свое слово. Это был кусочек страны, где щедро светило солнце и тряслась земля, свирепствовали тайфуны и женщины рожали слепых от атомной радиации детей... Гвоздики цвели долго, но перед их появлением была тревожная неделя, и, поливая куст сирахаги, Званцев каждый раз вспоминал ту встречу с Синдо — встречу, которая оказалась последней...

В августе пограничный катер задержал в наших водах три японские шхуны. Факт браконьерства был налицо — японцы не успели освободиться от пойманного лосося. Пока катер вел нарушителей в базу, стемнело, и тогда радиометрист засек еще одну шхуну. Катер повернул, чтобы отрезать ей выход в открытое море, но, к удивлению пограничников, шхуна вильнула к берегу. Очевидно, расчет у японцев был простой: пользуясь мелкой осадкой, спрятаться в прибрежных скалах, уйти, когда их прекратят искать.

— Рискуют, — усмехнулся командир катера и приказал: — Дайте шифровку в дивизион. Ну, и мы рискуем...

Но рисковать не пришлось. Шхуна сама выскочила из-за островка прямехонько на катер, так что к тем трем, которые уже болтались за кормой, вскоре прибавилась и эта четвертая — «Коцу-мару»... Командир снова приказал передать в дивизион, что ведет четыре «мару» сразу.

В бухту вошли уже на рассвете. Усталые моряки сдали задержанных. Японцы начали выгружать из трюмов



рыбу. На всякий случай из баков «мару» было выкачано все топливо; теперь рыбаки не смогли бы выкинуть какой-нибудь номер, даже если бы захотели.

Все судовые документы были переданы в штаб дивизиона, и оперативный дежурный, перелистывая их, мучительно морщился, как от зубной боли: черт разберет эти иероглифы! И вообще надоело возиться с рыбаками: ты их выставляешь в дверь, а они лезут в окно... Знают, хитрецы, когда идет лосось у наших берегов.

Пока в штабе допрашивали капитанов, к Званцеву на «большой охотник» (теперь Званцев был уже замполитом на новом корабле) поднялся матрос и сказал, что капитан-лейтенанта хочет видеть какой-то японец из задержанных.

— Хромой? — спросил Званцев.

— Да, — удивился матрос. — Знакомый ваш будет, товарищ капитан-лейтенант?

— Знакомый.

Синдо ждал его на пирсе. Взглянув на него, Званцев понял, что Синдо чем-то взволнован. Он не кланялся, не улыбался. Он сказал сразу:

— Американ здесь. «Коцу-мару» здесь американ.

Званцев не понял: какой американец? Все задержанные были японцами. Но Синдо твердил свое. пугливо

оглядываясь на шхуны. Нет, их никто не видел, рыбаки спали в своих кубриках... А Синдо твердил: американ...

Переводчик и офицер из отряда смогли прилететь только на четвертый день. Три дня Званцев сам следил за рыбаком, на которого ему показал Синдо. Сухой, маленький японец ничем не отличался от остальных. Он ел, спал, кидал камни в чаек, пел вместе со всеми или просил у проходящих матросов: «Плиз, сигаретт...» Званцев нервничал: Синдо мог чего-нибудь напутать. Но когда Синдо встретился с переводчиком, Званцев вздохнул облегченно...

...Этого человека звали Нисикава. Он появился на «Коцу-мару» за день до выхода в море. Капитан коротко бросил рыбакам: если попадемся, скажете, что работаем вместе уже год. Это раз. И второе: один из рыбаков, оказывается, видел Нисикаву в Токио, в Асакуса, где находятся всякие увеселительные заведения. Да, этот рыбак ездил туда к своим родственникам и видел Нисикаву с американцами. Сам Нисикава был в хорошем костюме, а не в такой грязной и вонючей робе, разумеется. И еще Нисикава пил и говорил с американцем по-английски, а потом пошел спать с сестрой этого рыбака: дело-то происходило в Асакуса, как-никак... И главное, на нем был хороший костюм. Понимаете, очень хороший дорогой костюм!

Переводчик вызвал Нисикаву не сразу. Сначала проходили другие рыбаки, с других шхун. Офицер из отряда и переводчик долго беседовали о чем-то с Синдо и, когда тот ушел, переглянулись. Наконец очередь дошла до капитана «Коцу-мару».

— Почему уходили к советскому берегу?

— Боялись встретиться с пограничниками. Штраф. А мы — люди бедные.

— Назовите по именам членов команды.

Капитан назвал всех семерых. Нисикаву назвал третьим.

— Давно знаете друг друга?

— Давно.

— Точнее.

Прикрывая глаза, капитан называл даты. Они совпадали с теми, что значились в судовых документах.

Станным было то, что Нисикава числился членом команды с сентября прошлого года. Офицер отряда, проводивший допрос, пристально осмотрел бумагу и усмехнулся:

— Подчистка. Здесь было другое имя. Скорее всего, они пытались высадить Нисикаву и не смогли, что-то им помешало. А ну-ка спросите, с кем встречался капитан за два дня до выхода в море?

Переводчик спросил. Капитан пожал плечами. Он встречается со множеством людей. С приемщиками рыбы, например...

— Нет, — перебил его переводчик. — С теми, кто велел вам взять Нисикаву.

Капитан не стал запыряться. Раз все известно, лучше выпутываться из этого дела сразу. Да, ему пригрозили, что выгонят с работы: ведь «Коцу-мару» принадлежит не ему... Да, к нему вечером пришли двое американцев и этот Нисикава...

— Он был в хорошем костюме? — спросил переводчик.

— Да, — растерянно ответил капитан.

Так вот они договорились. То есть капитану пригрозили, а уже утром Нисикава пришел на «Коцу-мару» с каким-то ящиком. Этот ящик был на шхуне все время, пока они не направились на пограничный катер. Тогда Нисикава спихнул ящик в воду...

Капитана увели. Званцев, присутствовавший на допросе, сказал:

— Возможно, это была электронная аппаратура, и этот Нисикава не должен был высаживаться, а?

— Спроси его самого, — усмехнулся подполковник. — Давайте сюда вашего американца.

Званцев слушал и удивлялся тому, как спокойно, почти лениво держится этот седой, немолодой офицер из



погранотряда. Откуда Нисикава родом? Ах, вся команда из От-Дзесю! Как же, там чудесные храмы, верно?..

А давно ли на «Коцу-мару»? Почти год? Очень хорошо. А когда в последний раз Нисикава был в Токио? Очень давно? Вот как?

Казалось, подполковник устал от всех этих разговоров с задержанными рыбаками. Он пил холодный чай, потом отставлял стакан и долго разминал в пальцах очередную папиросу, словно бы наслаждаясь этим занятием.

Значит, очень давно не был в Токио? Ну, а если вспомнить... Асакуса... И один американец еще был с ним.

Нет, Нисикава никогда не был там, в Асакуса. Это не по карману простому рыбаку. Вот и сейчас у него всего каких-нибудь десять сен<sup>1</sup>. А чтобы поехать в Асакусу нужно иметь кучу иен. без них там нечего делать!

— Слушайте, Нисикава, — лениво сказал по-английски подполковник. — Здесь нет детей. Вы не выдержите экзамена, который я могу вам устроить. Зачем тянуть время?

Нисикава сделал вид, что ничего не понял.

Подполковник глядел на него в упор, и Нисикава не отводил глаз.

— Ящик, который вы столкнули в море... — снова по-английски сказал подполковник.

Нисикава вздрогнул. Вздрогнули, вернее, только опущенные веки, но и этого было достаточно.

— Выдержка же у вас! — усмехнулся подполковник. — Ну, не хотите говорить по-английски, будем говорить по-японски. Спросите его, какое растение больше всего любят в От-Дзесю?

Переводчик спросил, и Нисикава ответил:

— В Япочии и в От-Дзесю больше всего любят сакуру.

— Вишню, — сказал переводчик.

---

<sup>1</sup> Сен — самая мелкая монета. (Прим. автора).

— А еще?

Молчание.

— Вы видали когда-нибудь сирахаги?

— Конечно.

— Так вот, в От-Дзесю больше всего любят сирахаги. В каждом доме есть кусты сирахаги. Ее умеет сажать самый маленький ребенок, если он на самом деле из От-Дзесю. Так вот: как надо сажать куст сирахаги?

Нисикава не ответил. Его тонкие веки, как пленки на глазах птицы, дрожали, и подполковник снова спросил по-английски:

— Будете говорить?

#### 4

Куст белой сирахаги стоит на подоконнике...

Так мне хотелось бы закончить рассказ. Но куст завял давным-давно. Званцев достает с полки том энциклопедического словаря и разворачивает его. Там, меж листов книги, лежит высохший, сплюснутый цветок, похожий на гвоздику. Цветок сирахаги...

Потом мы оба долго молчим.

Званцев берет сигарету, лезет в ящик стола и достает зажигалку, сделанную из гильзы патрона крупнокалиберного пулемета.

— Да, эту штуку я подобрал все-таки. А Синдо увез с собой мой подарок. Догадайтесь — какой?

— Радиоприемник, — сказал я, вспомнив, как он гладил рукой радиоприемник в доме рыбака.

— Нет. Он попросил у меня фотографию. Фотографию дома, который стоит на месте его хижины. Чтобы показать жене и сказать: «Вот, смотри, что было бы у нас, если бы мы были русскими». Больше он ничего не хотел взять от меня...

Да, кстати, я забыл сказать самое главное. Ведь тогда, в ту ночь, на руле «Коцу-мару» стоял Синдо и, когда Нисикава и капитан отвернулись, он переменял галс и вышел гочно на наш катер.

Где-то ты сейчас, маленький Синдо?

## Рапорта не будет

Еще в училище, получив назначение в Прибалтику, лейтенант Березный расспрашивал всех; кого только мог, о местах своей будущей службы. Одни говорили ему, что на Балтике так, как и везде. Другие махали рукой: «Да уж повезло тебе: лужа и островов да мелей до черта». Вручая Березному документы, начальник училища сказал на прощание:

— Трудная граница. И служба будет трудная. Так что ко всему готовьтесь...

Березный, не поняв, что тот подразумевает под «трудной границей», ответил, краснея, что трудностей не боится, но в душе все-таки пожалел, что едет в Прибалтику, а не с ребятами на Дальний Восток.

Сейчас, стоя на ступеньках вокзала, он с торопливым любопытством оглядывал открывшийся ему тихий городок, полуразвалившийся рыцарский замок на горе, каштаны, густо разросшиеся вокруг площади, и тонкие готические шпили, поднимающиеся за ними.

Ему не сразу поверилось, что всего в нескольких километрах отсюда, от этой площади, по которой быстрыми шажками расхаживают голуби, начинается граница и до дивизиона можно добраться на самом обыкновенном пригородном автобусе.

В дивизион Березный прибыл вечером, в тот самый момент, когда от пирса уходил новенький быстроходный

катер, а на других прогревали моторы. На кораблях, остающихся на базе, подняли сигнальные флаги: «Желаем счастливого плавания!» Катер, развернувшись, вышел на внешний рейд, и Березный следил, как он удаляется, почти сливаясь с серой поверхностью воды. В последний раз донесся рокот его дизелей, и стало слышно, как плещут о прибрежные камни ленивые, зеленые на отмелях волны, а наверху, над бухтой, тоскливо и пронзительно вскрикивают чайки.

— Любуется, товарищ лейтенант?

Березный обернулся. Сзади стоял капитан второго ранга. Березный, догадавшись, что это и есть командир дивизиона Кагальнов, вытянулся.

Они шли в штаб, и Кагальнов расспрашивал лейтенанта об училище, которое когда-то кончал и сам, о Ленинграде. Потом, принимая от Березного документы, Кагальнов внимательно просмотрел их, кивнул и сказал уже сухо:

— Ну что ж, товарищ лейтенант, будете самостоятельно командовать боевым кораблем. Желаю удачи!

У Березного сладко сжалось сердце. Только каких-нибудь пятнадцать минут назад он видел уходящий в море торпедный катер и глаз от него не мог оторвать.

— Пойдемте, — поднялся командир дивизиона. — Покажу вам корабль, познакомлю с командой.

Они спустились к воде, миновали склады горючего и вышли на пирс. Березный шел чуть позади командира дивизиона, осторожно ступая через тросы, чтобы не поцарапать новенькие «скороходовские» полуботинки. Он глядел то под ноги, то на оставшиеся в бухте торпедные катера и, не заметив, что командир дивизиона остановился, едва не наскочил на него.

— Извините.

— Торопитесь? — улыбнулся Кагальнов. — Вот ваш корабль.

Березный повернулся. Возле пирса, едва доставая рубкой до его края, стоял катерок, который трудно было назвать боевым кораблем, и только флаг на фалах да

пулемет-спарка, словно по недоразумению оказавшийся на палубе, свидетельствовали о том, что это не обычная мирная посудина. Такой катер был в училище; на нем курсанты проходили машинную практику.

Березный сразу охватил взглядом и латаные борта, по-видимому недавно выкрашенные шаровой краской, и деревянную чистую, выскобленную, как деревенский стол, палубу. Вахтенный бросился к ним с обычным рапортом: команда отдыхает, никаких происшествий не случилось. А Березный, рассеянно слушая вахтенного, вдруг тоскливо подумал: «Да уж какие тут происшествия!.. Поздравляю вас, товарищ лейтенант, с командой в пять человек и скоростью в десять узлов. Куда там за нами торпедным катерам тягаться!..»

Березный был не прав. В команде было не пять, а четыре человека, и скорость не десять, а двенадцать узлов. Кагальнов, познакомив его с командой, ушел, и лейтенант, обойдя свой катер, заперся в кубрике.

Ночью он долго не мог уснуть, все ворочался с боку на бок и прислушивался, как плещется о борт вода, покачивая катер, и тот скрипит, потрескивает... «Быть может, — наконец подумал Березный, — и не стоило мечтать о больших кораблях, о дальних дозорах, о стремительном сближении с катерами нарушителей, а то и перестрелках. Жизнь проще восторженной юношеской романтики. Здесь начинается служба».

В дозор катер вышел на следующий день. Над горизонтом неподвижно висела вытянутая черная туча, и низкое заходящее солнце, выглянув из-под нее, осветило все в неожиданно яркие тона.

Березный в кожаном реглане и шлемофоне стоял в ходовой рубке и смотрел, как старшина Лосев уверенно ведет катер. По правому борту оставался скалистый островок; в бинокль Березный видел только камни, на которых отдыхали чайки, да похожие на огромных ежей кусты можжевельника, стелющиеся по самой земле. Лосев сказал:

— Здесь, товарищ лейтенант, год назад целый бой был. Две иностранные шхуненки...

— Следите лучше за курсом, боцман, — не дал ему договорить Березный, незаметно поморщившись.

Бой, два «иностранца»! На таком катеришке в лучшем случае попадешь разве что к шапочному разбору.



...Березный недоумевал, почему командир дивизиона относится к нему так же, как и ко всем: никакого особого внимания. Они виделись редко. Кагальнов принимал от Березного рапорт и коротко приказывал: «Команде отдыхать». В этом Березный усматривал какую-то обидную несправедливость: мог бы и поговорить, в конце концов узнать, не трудно ли поначалу.

То, что Березному казалось несправедливостью, было просто нехитрой уловкой. Кагальнов рассуждал просто: пусть молодой офицер разберется во всем сам, привыкнет.

И Березный действительно привыкал.

Сначала он привыкал к своему положению командира катера, положению, которое не вызывало у него никаких радостей. Потом привыкал к команде, и это было куда трудней...

О радисте Приходько боцман Лосев рассказывал лейтенанту так:

— Ничего парень, только с завихрениями. Ну и моря еще побаивается. У него на Полтавщине-то какие моря! Он и родителям так писал: «А волны здесь такие, что выше нашего сельсовета».

Сам боцман Лосев служил сверхсрочную, и все на этом стареньком катере, который он с ласковой иронией звал «Коломбиной».

Когда раздавалась команда «Корабль экстренно к бою и походу изготовить», огромный Лосев весь как-то

подбирался, движения у него становились стремительными и точными, такими, что, глядя на него со стороны, можно было подумать: не небольшому катеру, а по меньшей мере эскадренному миноносцу была отдана команда. Однако значительность того, что и как делал в эти минуты боцман, не была показной. Она словно бы незримо передавалась всем, и не успевала обычно закончиться другая команда — «По местам стоять, со швартовых сниматься», — как, мелко дрожа и комкая за кормой зеленую воду, катер уже отваливал от пирса. Лосев застыл на палубе с рукой, поднесенной к берету, и, когда катер проходил траверз маяка, поворачивался и оглядывал море: старался определить, какая будет погода, хотя сводку все знали еще с утра.

Березный глубоко и искренне раскаивался в том, что поначалу принял боцмана за традиционного служаку, для которого главное — «чтобы все было чистенько». И хотя Лосев действительно любил, чтобы у него «все было чистенько», это была просто хозяйская опрятность, свойственная, пожалуй, всем боцманам на всех кораблях. Но увидеть и узнать боцмана таким, каким он был на самом деле, Березному удалось случайно.

Как-то ночью катер обходил узкие, вытянутые островки, вернее, даже не островки, а каменистые гряды, напоминающие диковинных животных, выплывших из морских глубин, да так и замерших на поверхности.

Березный стоял в рубке, то и дело высовывая из люка голову. Ну и места! Здесь ничего не стоит наскочить на какую-нибудь плешивую каменную громадину. Хорошо еще осадка у катера невелика: если и попадется подводная скала, можно проскочить. Карта лежала перед ним, он до рези в глазах вглядывался в многочисленные значки характеристик, среди которых тоненькой коричневой полосой был проложен курс, и тихо ругался.

Лосев и Приходько были на мостике, наверху. Боцман вел катер, и Березному приходилось только удивляться, как Лосев ориентируется в этом первозданном нагромождении скал и камней. Всякий раз, когда они

попадали сюда, у Березного и впрямь появлялось ощущение, что зашли они совсем на другую планету, где никакой жизни нет, а есть только эти камни, да вода, да разлохмаченные, разорванные клочья тумана, застрявшие среди валунов едва ли не со времен сотворения мира.

Березный усмехался этим случайным мыслям и снова тревожно высовывал голову, морщась от бьющей в лицо соленой пены. Вдруг он услышал беспокойный тихий голос боцмана:

— Ты, Петр, лучше гляди... Мы ведь, знаешь, самые крайние сейчас.

То, что сказал матросу старшина, неожиданно взволновало Березного. Он с удивлением, словно впервые, оглядел голые каменистые гряды островов и подумал, что это ведь тоже наша земля! И то обстоятельство, что он, лейтенант Березный, находится сейчас здесь, в этом безлюдье и безмолвии, наполнилось каким-то особым, новым смыслом. «А ведь действительно — самые крайние...»



Кагальнов появился на катере, когда его никто не ждал, незадолго до отхода в дозор. Он тяжело спустился с пирса по трапу (хотя это называлось — подняться на палубу), выслушал рапорт Березного и сразу пошел в машинное отделение. Там он придирчиво осмотрел машины, вспомнил, что шестой цилиндр раньше стучал — слышалась заглушка пальца.

— Ну, сейчас ничего, — убежденно ответил Кагальнову моторист. — Как часы подвинтили.

Березный подумал: «Однако, и память же у него...»

Кагальнов осмотрел весь катер и, стряхивая с брюк невидимую пыль, сказал:

— Все в порядке. Привыкли или еще привыкаете? А скажите теперь честно: на торпедные катера хотелось или на «большой охотник»?



Он лукаво прищурил глаза и склонил голову, ожидая ответа. Березный ответил ему, вытянувшись:

— Хотелось, товарищ капитан второго ранга. И сейчас хочется.

С лица Кагальнова словно смахнули улыбку. Он посмотрел на Березного испытующим, даже, пожалуй, тяжелым, взглядом и, коротко козырнув, пошел к борту.

Березный крикнул: «Команда, смирно!» У трапа Кагальнов обернулся, кивнул: «Вольно!» — и добавил, качнув головой:

— А вот этого я от вас никак не ожидал...

Он ушел, и настроение у Березного упало. Но думать долго об этом разговоре уже не было времени: пора выходить в море.

...Березный остановил катер у выхода из каменной гряды. Отсюда хорошо просматривался большой участок. Перед выходом лейтенанту сообщили, что две бригады из местного рыболовецкого колхоза ставят сети в районе острова Н. и, стало быть, пройдут мимо него: шесть мотоботов и двенадцать человек на них. Березный и раньше встречался с рыбаками, здоровался по-эстонски и те, что-то говоря, протягивали ему свои документы. Надо полагать, что процедура им не очень-то нравилась. Усталые люди торопились домой, а тут приходилось задерживаться, хотя и ненадолго.

Уже на стоянке Березный нагнулся над картой и начал искать этот остров Н. Должно быть, такая же узенькая полоска земли да камней да низкие кусты можжевельника. Лосев стоял рядом и заметил, что лейтенант что-то ищет на карте вдали от того места, где они находились.

— Где он, остров?

— А вот он.

Лосев деликатно показал мизинцем на соседний квадрат. Остров напоминал лошадиную голову. Березный не понял, почему Н.? Должно быть, местное название?

— Там, товарищ лейтенант, маяк есть. Да вон, поглядите по силуэтам.

Он развернул тоненькую книжечку, и Березный увидел рисунок: маяк действительно напоминал бутылку. Лосев словоохотливо разъяснил:

— Говорят, Петр Первый распорядился там маяк построить. Ну, значить (он говорил «значить»), приходят к Петру строители и говорят: так, мол, и так, ищем форму. Петр в это время обедал. Взял он штоф, поставил перед ними и говорит: «Вот вам и форма». Так и вышло: за место сургучной головки у маяка фонарь.

Березный расхохотался, и Лосев, решив, что это его рассказ произвел на лейтенанта такое впечатление, тоже улыбнулся.

— Ох, и историк же вы, старшина! — хохотал Березный.

Лосев смутился и, что-то пробормотав, замолчал.

Пора было подниматься на мостик. Туман, незаметно собравшийся между камней, вдруг закурился, задымил в сумерках и пополз по борту катера, обволакивая его. Вот еще этот туман, постоянный спутник, будь он неладен! Березный, нагнувшись, крикнул Приходько:

— Как там связь?

Приходько крутил ручки настройки, в наушниках попискивало, стучало, гудело, и Приходько морщился от всех этих налетающих шумов. Наконец он услышал что-то такое, отчего сразу заулыбался и кивнул лейтенанту. Связь с береговыми радиометристами была.

Приходько, прижимая одной рукой наушник, крикнул: «Передают!» Березный, кивнув, поднес к глазам бинокль. Нет, ничего не было видно отсюда, с мостика, и он, снова нагнувшись, ждал, когда Приходько кончит прием.

— Ну, что там у вас?

— Шесть ботов...

Приходько протянул ему листок, и Березный, спустившись в рубку, проложил на карте курс возвращающихся рыбаков. Они шли мористее, и, стало быть, надо было сниматься со стоянки и идти наперерез.

— Не теряйте связь, — кивнул он Приходько, приподнимая рукав и взглядывая на часы.

— Еще передают. Не шесть, а семь ботов. Еще один появился.

У Березного защемило сердце. Откуда семь? Было точно сказано: в бригаде шесть ботов. Он суетливо, срывающимся голосом выкрикнул команду и, когда, грохоча по ступенькам трапа, выскочил на палубу, катер уже мелко дрожал, выходя из-за гряды. Ему казалось, что катер идет медленно, чересчур медленно. Он нетерпеливо прислушивался к стуку мотора, мысленно подгоняя его, хотя времени было более чем достаточно.

Приходько крикнул ему: «Вызывает дивизион!» Но Березный не сразу расслышал его и только тогда, когда радист спросил, что передать, обернулся к иллюминатору рубки:

— Передайте: иду на сближение.

Сердце у него то замирало, то вдруг начинало колотиться бешено, неумоимо, как больное. Он не успокаивал себя. Если запрашивают из дивизиона, значит, неспроста. И он, шуря глаза от встречного ветра, все вглядывался в сизые надвигающиеся сумерки. Может быть...

Нет, ничего не случилось. Он не расстроился, не огорчился, что седьмой бот оказался почтовым, случайно приставшим к рыбакам.

Березный, отпустив рыбаков и «почтаря», приказал сообщить в дивизион обычное «все в порядке» и, когда катер повернул обратно, спустился в рубку, чтобы занести в вахтенный журнал это не ахти какое событие. Как же, так и полезли к тебе в руки нарушители!



Все, что копилось на душе у Березного, прорвалось наконец. Сидя у себя в каюте, он долго думал, прежде чем взять ручку и написать: «Капитану второго ранга Кагальнову Рапорт...» Но о чем писать дальше, он не знал и снова сидел и думал, пока не сообразил, что подавать

этот рапорт с просьбой о переводе в другую часть просто глупо. На другой корабль? Тоже вроде бы нет никаких оснований. Он отодвинул блокнот, решив, что допишет рапорт о переводе как-нибудь в другой раз. Но обязательно напишет!

На следующий день синоптики объявили: полоса туманов. Днем солнце накаляло все. Даже деревянная палуба, когда на нее выплескивали ведро воды, начинала дымиться. Чайки, вскрикивая протяжно и печально, кружились над бухтой с утра до вечера, и боцман Лосев нет-нет да и глядел на берег: не сядут ли они там? Он верил морской примете о чайке, которая «ходит по песку и моряку сулит тоску». Приходько, морща облупившийся нос и щурясь, поднимал голову к небу и, махнув рукой, отправлялся к себе, в холодок радиорубки.

— Разве це погода? Це ж ад на земле, разве що чертякив нема.

Они уходили из базы, когда жара немного спала. В море было легче, ветер сразу ударил о катер, и Березный, замерзнув, надел под китель свитер. Ночью все трое — лейтенант, боцман и радист — накинули регланы.

Все было привычно и на этот раз. Тот же первозданный мир, когда-то поразивший Березного. Те же камни в белых точках и потеках птичьего помета, та же даль. И даже знакомые сведения: два мотобота ловят рыбу в квадрате 46-В.

Березный тревожно глядел по сторонам, на воду, по которой расползались, текли, поднимались вверх густые, вязкие клочья тумана. Синоптики были правы: возможно, видимость будет нулевой. Лосев, стоящий рядом с лейтенантом, тоже глядел хмуро.

— Ох, не люблю я такую муть! — тихо сказал он. — Дрянь, а не ночь.

— Да уж... — согласился Березный. — Как там связь?

Теперь, конечно, нечего было рассчитывать на обзор. Туман сгущался, катер сейчас все равно что в молоке. И когда Приходько, высунувшись из рубки, протянул Бе-

резному узенький листок только что принятой радиогаммы, тот поначалу не сразу сообразил, что там написано.

«Выходите из шхер и ложитесь в дрейф в районе островов». Дальше перечислялись координаты. Березный приказал сниматься. «Правильное решение, — подумал он. — Так стоять все равно бессмысленно».

...Он не сразу расслышал тихий голос Лосева:

— Справа по борту моторный бот.

Бот проходил неподалеку, он был хорошо виден в тумане. Березный взял рупор и крикнул:

— Эй, на лодке, подойдите к борту!

Бот послушно свернул, и через несколько минут Березный увидел рыбаков. Они были знакомы: Березный не раз проверял у них документы.

— Тере, — поздоровался он по-эстонски. — Куда это в такой туман?

— Домой, — махнул рукой рыбак. — Переметы выбирал... Угорь пошел.

Мотобот отчалил и вскоре словно растворился в сгустившемся тумане.

— Вот народ! — то ли восхищенно, то ли с удивлением сказал Березный. — В любую погоду идут.

...Следующий моторный бот первым увидел Приходько. Березный, услышав его возглас, приказал застопорить и взял рупор:

— Эй, на лодке!..

Сейчас все будет, как обычно: бот развернется и пойдет к катеру. Это рыбаки возвращаются с моря. Интересно, кто на этом — быть может, тот самый угрюмый старик Мыттус, который обошел всю Балтику и Северное море, продавал угрей в Дании, но ни разу не был в Таллине!

Однако бот не повернул в сторону катера. Приходько, взглядываясь в туман, крикнул:

— Они уходят, товарищ лейтенант!

Березный вздрогнул:

— Крикните-ка еще раз.

Тут же он скомандовал: «Полный!» — и катер, мелко задрожав, пошел наперерез удаляющемуся боту. До от-  
мели, куда сейчас шли катер и бот, оставалось кабельто-  
вых пять.

— Они свернут, — почему-то шепотом, как будто его  
могли услышать те, кто был на боте, сказал боцман. —  
Скорость у них наша, по прямой не догнать. Зайдут в  
шхеры...

Моторист выжимал из машины все, что она только  
могла дать, но Березный видел, что мотобот уходит все  
дальше и дальше, превращаясь в неясное темное пятно.

...Сначала боцман, прильнув к пулемету, дал преду-  
предительный выстрел. Приходько высунул из рубки ру-  
ку с заряженной ракетницей и одну за другой пустил три  
ракеты — сигнал «Прорыв со стороны моря». Лосев дал  
очередь, и цепочка трассирующих пуль, изогнувшись,  
ушла за темный круг. Вторая светлая ленточка уже попа-  
ла в него.

— Есть, — разогнулся боцман.

Но Березный и сам видел, что «есть». Мотобот увели-  
чивался в размерах, его очертания становились все бо-  
лее четкими. Волнуясь, Березный опять повторил:

— Подойдите к борту!

Мотобот стоял на воде неподвижно. «Да у него же мо-  
тор разбит», — догадался Березный.

Катер на малых оборотах подошел к нему вплотную,  
и лейтенант приказал двум людям, с виду рыбакам, под-  
няться на борт. Те, косясь на ствол наведенного на них  
пулемета, полезли на катер и встали, подняв руки.

— Почему не послушались команды? — резко спро-  
сил Березный. — Вы же слышали!

Один из рыбаков ответил что-то на незнакомом язы-  
ке, и боцман, прислушавшись, свистнул:

— Так ведь это не наши, товарищ лейтенант! Не  
эстонцы.

Рыбак, словно поняв боцмана, закивал головой и,  
тыча пальцем вокруг себя, сказал, тщательно выговари-  
вая буквы:

— Тумман... — и закрыл глаза, как бы желая пояснить, что они заблудились в этом тумане.

— Почему же они тогда все-таки уходили? — спросил у боцмана Березный.

— Штрафа, наверно, испугались. Да потом разберутся — почему. Факт, что уходили.

Из бота на катер перебрался Приходько, вытирая о робу измазанные в рыбьей чешуе руки, доложил, что ничего, кроме сетей да рыбы, не обнаружено. Бот был взят на буксир, Березный распорядился отправить радиogramму в дивизион и тронул рукоятку машинного телеграфа. Катер опять задрожал, но не сдвинулся с места.

— Что такое? — встревожился Березный. — Что там у вас?

Механик не отвечал, потом из машинного отделения донесся его приглушенный голос:

— Винт не проворачивается.

Березный быстро взглянул на рыбаков. Те стояли невозмутимые, не понимая, о чем идет разговор...

— Отведите их вниз, боцман. И глаз с них не спускать.

Лейтенант прошел на корму и перегнулся через поручни. Вода была черная, не прозрачная, с лохмотьями ползущего над ней тумана. Он ничего не смог разглядеть. Из машинного высунулся обнаженный по пояс моторист.

— Не иначе, как морской дядька бороду намотал. Трава, наверно, водоросль.

— Какая там трава! — махнул рукой Березный. — Который раз по этому месту ходим, и ничего не было. Дайте-ка еще самый малый.

Катер по-прежнему не двигался.

— Разрешите, я нырну? — снова высунулся моторист.

Березный даже издали почувствовал, как от него пышет жаром. Если ему сейчас разрешить лезть в воду, — значит, посылать на верную болезнь. То же самое механик...

— Приходько, — позвал лейтенант, — подойдите сюда!

Радист подбежал к командиру, стуча ботинками по палубе, и Березный, показывая на воду, сказал:

— Надо посмотреть, что там с винтом.

— Есть — Приходько расстегнул бушлат, сел на палубу и начал стягивать ботинки.

— А нырять умеете?

— Ни.

— Так чего ж... — Березный улыбнулся: — Ладно, держите реглан.

Он быстро разделся и ждал, зябко обхватывая плечи, пока Приходько сбегает за ножом. Потом, осторожно свесив ноги, скользнул в воду.

Ошупью он добрался под водой до винта и, только дотронувшись до него, все понял. Значит, когда они подошли к мотоботу, рыбаки успели незаметно бросить под корму пеньковый конец, и его намотало на винт.

Ему не хватало воздуха. Он всплыл, жадно глотая его и чувствуя, как бешено колотится сердце. Потом нырнул снова. И каждый раз, когда он высовывал из-под воды голову, Приходько торопливо и тревожно говорил:

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант, давайте я вас линьком привяжу...

Минут через десять Березный поднялся на палубу. Ноги у него мелко дрожали. Он держал пучок изрезанных веревок и не видел, что веревки в крови. Сам того не замечая, лейтенант сильно порезал себе пальцы.



Места, где произошла встреча катера с мотоботом, были мелкие, и наутро туда отправилась вспомогательная шхуна с водолазом. Когда командир дивизиона вызвал Березного к себе, шхуна уже вернулась и зеленый водолазный тифтик с растопыренными рукавами уже сушился на солнце, подвязанный к леерам.

У Березного болела порезанная рука. Этой ночью ему наложили швы. Стоя в коридоре, прежде чем войти к



командиру дивизиона, он снял с кителя прилипшие от бинта нитки.

Кагальнов был не один. Здесь, в кабинете, сидело еще несколько офицеров-пограничников, все незнакомые, приехавшие, очевидно, из управления. Еще не зная, зачем его вызвали, Березный сказал обычное: «По вашему приказанию прибыл», — и только тогда заметил, что на столе Кагальнова что-то лежит, прикрытое сверху газетой.

— Вот он, гроза заблудших рыбаков, — весело сказал Кагальнов. — Жалуются на тебя рыбаки-то. Говорят, нехороший офицер, из пулемета в них стрелял.

— Разрешите доложить, — строго ответил Березный. Он волновался и не замечал, что командир дивизиона разговаривает с ним лукаво. — Они уходили, товарищ капитан второго ранга, и я был вынужден открыть огонь. Потом они бросили конец под винты. Зачем спрашивается?

Невысокий сухопарый майор — его Березный не знал — перебил его:

— Их так учил староста в селе. Они показали на допросе — староста говорил: «Не попадайтесь к русским. Ну, а если уж попались, постарайтесь чем-нибудь напороть». Аполитичные люди, чего с них возьмешь...

— Совсем аполитичные, — усмехнулся Кагальнов. — Хотите поглядеть?

Он отдернул газету. Там, на столе, были аккуратно разложены пистолеты, два автомата, портативные радиопередатчики. В просмоленных мешочках тускло поблескивали патроны. По меньшей мере сто пар часов, золотые браслеты, пачки слипшихся денег, несколько паспортов — все это лежало отдельно.

— Полный джентльменский набор, а? — Кагальнов поднял, словно взвешивая, пистолет. — Ну, а теперь докладывайте...

Березный вернулся на свой катер и, приказав команде отдыхать, спустился в каюту. Рука все болела, он поднес ее ко рту и подул на бинт, пахнувший йодом. В

глаза ему бросился открытый блокнот: «Командиру дивизиона капитану второго ранга Кагальнову. Рапорт...»

Он вырвал листок и, скомкав его, сунул в карман. В каюте было душно, палуба уже успела нагреться за день. Неловко держась одной рукой за поручень трапа, он снова поднялся на палубу.

Приходько был вахтенным и стоял возле борта, смотрел, как уходят в сумеречную морскую дымку дозорные корабли. Березный встал рядом с матросом, и тот не понял, почему командир, глядя на далекие, тающие в морском просторе торпедные катера, задумчиво сказал:

— Нет, Приходько, не будет никакого рапорта...



## Джентльменский линек

Двадцать пять лет назад капитан второго ранга Кагальнов был простым матросом и ходил на торговом судне Балтийского пароходства. Судно побывало во многих портах, во многих странах. Кагальнову довелось ловить меч-рыбу на Санта-Крус, изнывать от жары в Кейптауне и стоять на вахте во время урагана, который настиг их в злом Бискайском заливе.

Но странная вещь: он спокойно переносил и шторм и тропический зной, однако стоило судну подойти к Ла-Маншу, как на душе Кагальнова становилось неуютно и тяжело и он мечтал об одном — скорей бы пройти пролив и оказаться в открытом море. Впрочем, так чувствовал себя не он один. Боцман Ершов, всего повидавший за тридцать с лишним лет морской службы, иначе и не называл Ла-Манш, как «чертовой глоткой».

В тот день, когда кончился переход через Атлантику, в воздухе стояла душная, густая жара. Все на судне было влажным. Одежда набухла влагой, тяжелые капли скатывались по стенам рубки, вода скапливалась на толках кубриков. В небе собирались угрюмые тучи, и казалось, им не хватает еще какой-то капли, чтобы обрушиться вниз гремящим, не освежающим, а горячим, как и все вокруг, потоком. Боцман в одних трусиках и тельняшке хмуро смотрел на мертвую ровную поверхность океана и что-то ворчал себе под нос. Кагальнов спросил

было его: «О чем это вы, Евсей Евсеич?» — но тот только отмахнулся: «Ни о чем. К «чертовой глотке» подходим, вот что».

И как бывало всегда, Кагальнову стало не по себе, хотя он и пытался думать о том, что ничего страшного нет, что капитан и штурман — люди опытные и что Ла-Манш они проходили не раз и не два. Но это утешение все-таки действовало плохо.

А к вечеру появился туман.

По черной воде, словно прижимаясь к ней, поползли длинные, разлохмаченные тени. Они ползли медленно, потом отрывались от воды и начинали куриться тонкими струйками. Струйки соединялись между собой и разъединялись снова, вились, будто в медленном танце, а затем вдруг расплывались вширь, образуя густую, непроглядную завесу. Судно разрывало эти струи, но они снова смыкались за кормой, а впереди вставали другие, уже не струи, а разливы тумана. Вот он поднялся до фальшборта, вот уже подобрался к капитанской рубке, вот уже и клотика не видно. Только прожектор тревожно мигает, словно через молоко, — огромный, расплывшийся желтый глаз.

На носу, вглядываясь в туман, стояли трое впередсмотрящих. Судно шло медленно, очень медленно. Казалось, оно с трудом преодолевает туманную пелену. А троем впередсмотрящим казалось другое: что стоят они на крохотном клочке неподвижной суши среди исчезающего мира и во всем мире только и есть, что они трое, да этот клочок палубы под ногами, да этот туман.

Тревожные гудки они слышали одновременно. Где-то там, в белесой мути, стонал, вскрикивал гудок, ему вторила корабельная сирена. Звуки были призывными, они походили на крик раненого. Но невозможно было определить, в какой стороне стонет этот гудок. Звук метался, он возникал то спереди, то слева, то вдруг вырывался откуда-то из-за спины... Кагальнов почувствовал, что у него бегут по спине мурашки. Он не верил ни в бога, ни в черта, ни в многочисленные морские рассказы о «Летучем

голландце». но сейчас ему было просто страшно стоять вот так, среди тумана, и слышать этот тоскующий, со всех сторон наваливающийся звук.

Доложили капитану. Но он сам слышал гудки и, хмурый, стоял в рубке, вглядываясь в туман. Ни одного светлого пятна не было видно; туман словно бы нарочно разделял сейчас людей, будто бы назло не пропускал свет прожекторов.

Внезапно Кагальнов вздрогнул. Гудок, прерывистый и задышающийся, раздался совсем рядом, справа, и, когда он замолчал, явственно донеслись голоса. Ему показалось, что это голоса спорящих — их было много, этих злых голосов:

— Судно по правому борту!

...Через десять минут Кагальнов с группой моряков уже подходил на шлюпке к судну. Им сбросили штормтрап; еще через минуту они были на палубе.

В тумане метались не люди, а тени. Штурман Углов крикнул что-то по-английски, и сразу рядом оказалась фигура человека в морской фуражке с высокой тульей. Кагальнов плохо знал английский: с трудом он разобрал слова «тонет» и «команда не подчиняется». Тут же к штурману подскочил матрос с тонущего судна. Он что-то говорил, очень взволнованно и быстро. Теперь Кагальнов вообще ничего не понимал.

— Быстро, — скомандовал Углов. — Навести пластырь, качать воду. Пробоина в левом борту, в трюмном отделении.

Одни качали воду, другие наводили пластырь. И когда удалось заткнуть зияющую пробоину, оказалось, что туман схлынул, они и не заметили, что прошло уже два с лишним часа.

На палубу Кагальнов вышел, пошатываясь. Иностранные моряки, сами измотанные вконец, подхватили его под руки.

— Что у вас произошло? — спросил Кагальнов и попытался задать этот же вопрос по-английски, но у него

ничего не вышло. Один из моряков вдруг сказал по-русски, чуть «окая»:

— Стукнула нас какая-то субмарина и смылась. Капитан приказал покинуть судно, а мы не захотели. Им что: судно застраховано, а у нас здесь все имущество.

— Откуда ты знаешь русский? — изумился Кагальнов.

— Русский я, — тихо сказал матрос. — Родители в восемнадцатом увезли из России, да так вот и мыкаюсь.

Никто не заметил, что в стороне стояли несколько офицеров и прислушивались к этому разговору. Матрос протянул Кагальнову руку:

— Спасибо, товарищ.

Это поняли все. Другой матрос сказал: «Сенкью, команд», — и тоже пожал руку Кагальнову. Вот тогда-то и подошел к ним один из офицеров.

Высокий, тонкий, с усиками над губой, с узким, как лезвие, носом, он шел спокойно, играя перчатками, зажатыми в левой руке. Подошел, остановился и коротким сильным ударом сбил одного из матросов с ног — того самого, который сказал «сенкью». Потом он повернулся к другому — русскому эмигранту, но Кагальнов перехватил его руку. Офицер попытался вырвать ее — ничего не получилось. Кагальнов почувствовал, как свело пальцы: так он сжал руку офицеру.

— Вот что, — тихо сказал Кагальнов, глядя ему в глаза и не соображая, что тот все равно ничего не поймет. — Вот что, гражданин: ты это брось. А то можно и сдачи дать.

Офицер дернулся. Кагальнов разжал пальцы.

— Еще раз спасибо, браток, — сказал русский. — Расскажи там, как с нами обращаются. На, возьми на память, вот чем нас господа потчуют.

Он протянул Кагальнову прочный линек. Потом, повернувшись и вобрав голову в плечи, пошел к трапу.



Осенью на Балтике часты туманы, и служба погоды донесла, что идет целая полоса туманов, видимость нулевая. На всех заставах выделялись усиленные наряды, береговые радиометристы тщательно выверяли технику. Из управления погранвойск пришло короткое распоряжение: «Усилить охрану границы». На совещании в штабе части ее зачитали всем офицерам. Никому ничего не надо было разъяснять. Требование усилить охрану границы могло быть и не связано с полосой туманов.

На эти дни Кагальнов перебрался из военного городка, где он жил, в дивизион. Из дома он взял подушку и плед. Жена, уже привыкшая к тому, что муж подчас неделями не бывал дома, только спросила:

— Ты хоть позвонишь домой?

— Не знаю, — ответил он. — Ничего не знаю.

Он распорядился оставить на базе только два катера: остальные корабли, в том числе и «морские охотники», вышли в море на несколько суток и стали на якорь возле крохотных безлюдных островков. Сейчас нельзя было вести поиск или ложиться в дрейф: туман мог обвалиться в любую минуту. Специально выделенный торпедный катер обходил участки, в которых работали рыбаки, и предупреждал о тумане. Рыбаки возвращались к берегу.

И туман свалился наконец. Хотя его ждали и готовились к нему, он все-таки был неожиданным: так быстро окутал берега и плотно закрыл море. Надолго ли? И что он несет с собой. Этот туман? На душе у Кагальнова было беспокойно, он то и дело спрашивал по селектору радистов:

— Ничего не сообщают?

— Ничего, товарищ капитан второго ранга.

Кагальнов вздыхал и начинал нервно ходить по кабинету, семь шагов в одну сторону, семь — в другую. Что ж, он ведь сам приказал командирам кораблей связываться с дивизионом только в крайних случаях, чтобы нельзя было запеленговать корабельные рации. И теперь

остается одно — ждать. Но ждать как раз и было невыносимо трудно.

Он попробовал было читать, но глаза только скользили по строчкам, и он не понимал того, что читает. Поэтому он обрадовался, когда в дверь постучали и на пороге появился флагманский штурман. Очевидно, и его томило ожидание.

— Сыграем?

Под мышкой у него торчала шахматная доска. Кагальнов согласился:

— Сыграем. — И поглядел на часы.

Было уже около трех часов ночи. Туман за окном сгустился еще сильнее, он слился с ночной теменью и плотно залепил окна.

— Да-а... — протянул штурман. — Ночка выдалась, прямо скажем...

Они начали расставлять фигуры. Кагальнов играл черными и поставил своего ферзя на белую клетку. Штурман даже не заметил этого, они механически передвинули несколько пешек, и Кагальнов поднялся:

— Не могу. Погоди минутку.

Он подошел к селектору, но в это время динамик, висевший над столом, заговорил:

— Товарищ командир дивизиона, радиogramма с «шестерки».

Вместе со штурманом Кагальнов выскочил в коридор.

Трое радистов торопливо записывали что-то на бумажных лентах, когда он вошел в радиорубку.

— Понял.

— Понял.

— Понял.. Прием...

Кагальнов догадался: заработало сразу несколько передатчиков. Он нетерпеливо ждал. Наконец ему протянули первый листок. Так и есть: обнаружено приближающееся судно. Об этом же сообщили с других кораблей, об этом говорилось в радиogramме береговой службы.

Наверху, в своем кабинете, Кагальнов подошел к большому столу, на котором была разложена карта и





стояли маленькие кораблики. Он мог видеть весь участок границы. Вот чужое судно. Оно здесь, в квадрате 76-Е, и, судя по данным, идет к нашим берегам. Заблудилось в тумане? Сбилось с курса? Свое судно или чужое? Квадрат 76-Е был далеко, милях в сорока — сорока пяти от базы, но в хорошую погоду... «Ладно, — решил Кагальнов. — Попробуем и в плохую погоду».

Он передал радистам приказ всем кораблям и, на ходу надевая кожаный реглан, выбежал на пирс. Вдоль пирса тянулась, теряясь в тумане, цепочка фонарей — как на улице. Время от времени из тумана доносился рев дизелей: это на катерах прогревали моторы.

Лейтенант Березный уже ждал командира дивизиона.

— Вот что, — сказал Кагальнов, неуклюже поднявшись в рубку. — Ты меня извини, лейтенант, но сейчас катер поведу я. Дело спешное, а я здесь каждый камешек знаю.

Катер вылетел в бухту, и Березный даже зажмурился. Ему на секунду стало страшно оттого, что его новенький, только что полученный катер может наскочить в этом тумане на какую-нибудь паршивую банку — и тогда прости-прощай долгожданный боевой корабль. Но Кагальнов вел катер уверенно, почти не поднимая глаз от приборов и только время от времени переговариваясь с лейтенантом.

— Как рация?

— Молчит.

— Запросите корабли, узнайте, не изменился ли курс нарушителя.

Березный спустился в радиорубку и кивнул Приходько: передавай... Через несколько минут он докладывал: нет, судно идет прежним курсом, подходит к квадрату 76-Д.

— Это хорошо, — сказал Кагальнов. — Это еще ближе... Это уже в наших водах.

Катер летел, разрезая мглу и туман, и Березный подумал с восхищением: такой человек, как командир дивизиона, может и с закрытыми глазами повести корабль!

— Вижу, — донес радиометрист. Он назвал расстояние, и Кагальнов кивнул: «Очень хорошо. Совсем рядом. Передайте: «Большому охотнику» идти мористее, отрезать нарушителю обратную дорогу.»

Перед глазами Кагальнова словно бы вставала карта — та самая, что лежала на его столе, и он мысленно видел маленькие кораблики, движущиеся по ней.

...Катер подошел к судно-нарушителю, резко сбавив ход. В тумане ясно вырисовывались очертания «торговца». На малых оборотах Кагальнов подвел катер почти вплотную к борту нарушителя и взял мегафон.

— Что за судно?

Сверху ему ответили по-английски. Тогда Кагальнов — тоже по-английски — повторил вопрос.

— «Хэппи», — донеслось с «торговца».

— Вы зашли в советские территориальные воды! — крикнул Кагальнов. — Остановите машины, спустите трап.

Все было немедленно выполнено. Боцман Лосев поймал штормтрап; судно и пограничный катер стояли теперь борт о борт.

— «Хэппи», — проворчал Кагальнов, сбрасывая реглан. — «Счастливый». Посмотрим на гостя. Вы со мной, лейтенант, и еще двоих из команды.

Вчетвером они поднялись на борт. Кагальнов с нео-

жиданной легкостью прыгнул на палубу и резко спросил:

— Где капитан?

— К вашим услугам, сэр.

Он уже стоял здесь, высокий, плотный человек в фуражке с большим козырьком. Кагальнов, приложив руку к своей фуражке, повторил, что «Хэппи» зашло в советские территориальные воды и задерживается пограничной охраной.

— Досадная история, — спокойно ответил капитан. — Ничего не поделать: мы заблудились в тумане. Прошу вас, сэр. Все документы к вашим услугам, сэр.

Кагальнов ушел проверять судовые документы. На палубе было пусто. Рядом с Березным остался другой офицер с «Хэппи».

— Вы будете досматривать судно, сэр?

— Да.

— Прошу вас, сэр.

Березный, хотя и сознавал всю ответственность, которая лежала сейчас на нем, все-таки фыркнул: «Прошу вас, сэр Березный!» Он пошел за офицером, оставив двоих моряков на палубе.

Ничего подозрительного на судне не было. Разве только то, что команда отдыхала: почти все матросы спали в кубриках. На палубе не было ни одного человека. Ну что ж, на каждом судне свои порядки.

Кагальнов просмотрел судовые документы. «Хэппи», порт приписки — Глазго, шло с грузом леса, фанеры и целлюлозы из одной прибалтийской страны. Акты таможенного досмотра были составлены по всем правилам. Вдруг Кагальнов поднял глаза на капитана.

— Когда вы кончили погрузку?

— Двенадцатого, сэр.

— А вышли?

— Тринадцатого. Несчастливое число, сэр, не так ли?

— Значит, целые сутки судно под грузом стояло в порту? Вы же знали, что идет туман?

— Нет, сэр!

— Вы сознательно шли на убытки, которые несет фирма в связи с простым судном?

— О сэр, это все местные чиновники. На судне была санитарная инспекция.

— Перед выходом? Обычно санитарная инспекция поднимается на борт во время прибытия судна.

— У каждого государства свои законы, сэр.

— Свидетельство о санитарном осмотре у вас есть?

— Нет. Увы, нет.

Кагальнов откинулся на спинку кресла. Он был спокоен сейчас; волнение, появившееся было, когда он подводил катер к «Хэппи», уже давно прошло. Мысль работала четко: судно специально задержалось на сутки в порту, ожидая туманов. Но зачем, зачем? Судовые документы не отвечали на этот вопрос: фанера, целлюлоза...

Кагальнов рассматривал теперь капитана. Сначала смутное воспоминание шевельнулось в нем, когда он скользнул взглядом по узкому, как лезвие, носу и поседевшим усикам. Нет, он не мог точно сказать, виделись ли они прежде.

— Вы говорите, что судно сбилось с курса. Судя по всему, вы — старый моряк, а «Хэппи» спущено на воду два года назад. Значит, судно оборудовано новейшими навигационными приборами.

— Вы в чем-то подозреваете меня, сэр? — улыбнулся капитан. — Это не по-джентльменски! Вы же сами видите, какой туман. Мне кажется, что я нахожусь в Ла-Манше!

И сразу Кагальнов вспомнил все. Вспомнил это лицо, черные в ту пору усики и короткий удар, опрокидывающий матроса на палубу. Он резко поднялся; поднялся и капитан.

— Хорошо, — сказал Кагальнов. — Акт составим позже. Я хочу осмотреть судно.

— Но ваш офицер... — начал было капитан.

Кагальнов перебил его:

— Я люблю все видеть сам.

Капитан понимающе улыбнулся:

— Пожалуйста, сэр.

Они поднялись на палубу. Березный уже ждал здесь, и, видно, с нетерпением.

— Можно вас на минутку? — шепнул он. Потом, так же шепотом, он рассказал Кагальнову о том, что заметил один из пограничников. Штормтрап на правом борту был свернут, но нижняя часть его оказалась мокрой. Между тем пограничники поднимались на «Хэппи» с левого борта, и штормтрап еще не был убран. Стало быть... Стало быть, кто-то совсем недавно пользовался штормтрапом с правого борта? Кагальнов повернулся к капитану.

— Пользовался ли в последние часы кто-нибудь штормтрапом с правого борта?

— Нет, сэр.

— Почему же у него концы мокрые?

— Не знаю, сэр. Возможно, он мог упасть, на него могли опрокинуть ведро с водой, да и просто отсырел — вот и все.

Кагальнов усмехнулся: вон сколько случайностей!

Через некоторое время с формальностями было покончено. Капитан провожал Кагальнова, держа руку у большого лакированного козырька. Он был предельно вежлив, капитан. Он извинился, что причинил столько беспокойства пограничным властям. Он сам не понимает, как это получилось. Скорее всего, виноват штурман, у него совсем еще мальчишка штурман, это его второй или третий рейс. Но он будет серьезно наказан, разумеется.

— Кулаком под челюсть или линьком? — спросил Кагальнов.

— О сэр, это не по-джентльменски!

— Ну, как сказать... Вы ходили в тридцатые годы на «Мэри Гилфорд»?

— Да, сэр.

— Помните пробоину, которую получили в Ла-Манше в такой же туман?

— Конечно, сэр. — Глаза у капитана стали тревожными впервые за все это время.

— И я помню, — тихо, еле сдерживая злость, сказал Кагальнов. — И как вы матроса ударили, помню. И как я вас за руку схватил, тоже помню. И тот линейк, который мне ваш матрос подарил, до сих пор у меня хранится.

Капитан молчал. Теперь у него было растерянное лицо и нервно дергалась щека. Кагальнов взялся за перекладины трапа...



Остаток ночи он провел в штабе пограничного отряда. Под утро на столе дежурного резко зазвонил телефон, и дежурный открыл дверь в комнату начальника отряда.

— Вас, товарищ полковник.

Полковник вернулся через несколько минут и, вплотную подойдя к Кагальнову, спросил:

— Значит, говоришь, концы штормтрапа по правому борту были подмочены?

— Так точно.

— Взяли субчиков, — тихо сказал полковник. — Один убит, двое сдались. Резиновая лодка и все прочее. Любят они туман. Вот почему и команды на палубе не было, и груженое судно в порту целые сутки простояло. Ничего, взяли...

Кагальнов устало провел ладонями по лицу и подошел к большому столу. Это был такой же стол, как у него в кабинете. Маленькие игрушечные кораблики стояли на карте.

— Любуешься на свои? — тихо спросил полковник. — А туман, между прочим, редет.

— Это рассвет, — ответил Кагальнов. — Я поехал в хозяйство, Леонид Андреевич. Нужно переменить места стоянок. До вечера буду в дивизионе, а потом сам уйду в море.



## Мама приехала

Несколько лет назад я писал об одной знатной ленинградской обувщице-закройщице. Мы сидели в комнате, по стенам которой были развешаны многочисленные фотографии: мальчик с большим бантом, он же, чуть подросший, с пионерским галстуком, тот же мальчонка на рыбалке, и играющий с другими ребятами в рюхи, и таскающий кирпич на какой-то стройке; наконец — уже юноша в кителе с погонами курсанта.

— Это, должно быть, ваш сын?

— Да, — ответила она. — Первый год, как мы расстались. Вот захотел стать пограничником. Даже не верится, что Владик — и вдруг пограничник. Вот этот самый Владик, который играет в рюхи...

Помнится, в своем очерке я упомянул об этом разговоре вскользь: в основном речь шла о том, как работает и живет бригада, руководимая Марией Федоровной Раечкиной.

Прошли годы. Разумеется, я уже давным-давно забыл об этой встрече. Впрочем, время от времени в газетах появлялась фамилия знатной закройщицы, один раз даже был опубликован ее портрет. Но, приехав на шестую заставу, я, конечно, не мог и предполагать, что здесь произойдет другая встреча, словно бы продолжающая ту, в небольшой комнате, где висела на стене фотография паренька в кителе с курсантскими погонами.

— Устроим мы вас с комфортом, — сказал мне начальник заставы. — У моего заместителя по боевой подготовке целые три комнаты, а он один. Сейчас он придет, и я вас познакомлю.

Так я познакомился с лейтенантом Раечкиным.

...Он служил на заставе год, и служба уже стала лейтенанту привычной, он занимался боевой подготовкой солдат, и на инспекторском смотре заставка сдала боевую на «отлично».

Об этом мне лейтенант рассказывал поздним вечером. И еще он рассказал, как в первый же месяц жизни на заставе им вдруг овладела тоска, как он засомневался в своей пригодности к пограничной службе, даже написал своему любимому преподавателю в училище. Тот ответил:

«Выбрось из головы эти дурацкие мысли. У тебя талант пограничника, а с таким талантом люди рождаются. Я даже не хочу разговаривать с тобой на эту тему».

В трех просторных комнатах лейтенант жил один. То, что по городским понятиям являлось роскошью, здесь оборачивалось совсем другой стороной. В комнатах все носило печать какой-то спешки, неустроенности, и разве только коврик над диваном вносил в эту неуютную квартиру что-то домашнее и по-домашнему теплое.

— Пора вам жениться, — шутиливо сказал я лейтенанту. Он густо покраснел и ответил с необыкновенной серьезностью:

— Всегда успеется. Нашему брату в этом деле ошибаться нельзя. Надо один раз — и чтоб уже накрепко, навсегда.

Спать нам еще не хотелось. Раечкин прокручивал на магнитофоне одну ленту за другой, и мы слушали музыку, а я жалел, что вечер для меня пропал, пропал окончательно и бесповоротно, потому что от Раечкина не услышишь истории, какими так богата любая заставка. С чужих слов он, пожалуй, и смог бы мне рассказать чего-нибудь. И я уже с грустью по поводу вы-



нужденного безделья слушал музыку, курил и перелистывал блокнот с дневными записями.

Раечкин сказал:

— Давайте пить чай с брусничным вареньем.

Он поставил на стол банку и пояснил:

— Мать приезжала недавно — вот, привезла. Неудачно она приехала. Вы спросили — как она живет? Хорошо, только видимся мы редко. Вам, наверно, хочется услышать рассказы о том, как шпионов ловят? Я, к сожалению, ничего такого рассказать еще не могу: не знаю, не видел... А вот о буднях — пожалуйста. Или это писателям не интересно — о буднях-то?

Мы пили чай с брусничным вареньем, которое привезла мать лейтенанта Раечкина — Мария Федоровна, и он неторопливо рассказывал мне о том, как она приехала...



Хотя телеграмма была послана три дня назад, Владик на вокзал не пришел, напрасно Мария Федоровна искала его в толпе.

Потом толпа схлынула, а Мария Федоровна все стояла на опустевшем перроне. В своих письмах он не раз повторял: «Встречу тебя с почетным караулом; только приезжай скорей». И вот она приехала, а Владика нет, по перрону прогуливается скучающий милиционер, да несколько мужчин пьют у ларька пиво.

Она везла Владiku несколько банок его любимого брусничного варенья, и чемодан был тяжелым. Там, в Ленинграде, ей советовали отправить варенье посылкой, но она и слушать не хотела. Теперь она должна была идти с этим тяжелым чемоданом в незнакомый город.

Но у дверей с надписью «Выход в город» ее окликнули:

— Мария Федоровна вы будете?

Какой-то солдат смотрел на нее выжидающе, а она не сразу поняла, о чем он спрашивает.

— Что? А, да, я,

— Раечкина? — снова спросил солдат.

— Раечкина.

— Ну, тогда порядок, — сказал солдат, улыбаясь и одергивая сзади гимнастерку. Давайте мне ваш чемодан.

Потом они кивнул в глубину площади, где стоял «газик» с брезентовым верхом, и сказал:

— Поехали. Только, Мария Федоровна, дороги у нас — не витамин.

Город она не успела разглядеть. Он оборвался сразу за многоэтажными домами. Шоссе, будто широкое лезвие, разрезало густой сосновый лес. Скоро машина свернула, и дорога в самом деле оказалась трудной. Мария Федоровна боялась за банки с вареньем: так отчаянно швыряло «газик», хотя солдат вел его с аккуратной боязливостью, тормозя перед каждой выбоиной.

— Да уж, — сказала она, — дорога в самом деле...

— Зато красота-то какая! — сказал солдат. Он словно пытался извиниться перед Марией Федоровной за эту дрянную дорогу, словно хотел оправдаться красотой лесов, уходящих чередой в голубую дымку. Мария Федоровна, придерживая чемодан, глядела по сторонам.

Вообще говоря, она долгое время не понимала, почему Владику обязательно надо было стать пограничником. Он хорошо кончил десятилетку, мог бы поступить в вуз, но послал документы в погранучилище и скоро уехал. Мария Федоровна считала, что это все книжки, романтика вскружили парню голову.

Мало-помалу она свыклась с тем, что Владик приезжает из училища раз в год, в отпуск, и в первый же вечер убегает к своим школьным друзьям.

Последний раз они виделись три месяца назад, когда Владик оказался в Ленинграде проездом на заставу. Они отправились в театр. Вернее, Мария Федоровна пошла одна, Владик должен был подойти. Он появился не один, с ним была девушка, он познакомил ее с матерью и сразу потащил обеих в буфет.

Мария Федоровна разглядывала девушку с откровенным любопытством. Та поначалу смущалась, а потом

поглядела Марии Федоровне в глаза с отчаянной смелостью — истинно женский ход, возвращающий ей утраченное самообладание.

Девушка была как девушка, звали ее обычно — Ирина, и Мария Федоровна не могла сказать, понравилась ей Ирина или нет. Временами она перехватывала взгляд, каким Владик глядел на девушку. Было в нем не то восхищение, не то удивление, но Мария Федоровна не понимала, чему тут удивляться или чем восхищаться. Обыкновенная девушка; таких встретишь сто раз на день и не обратишь внимания.

После спектакля Ирина настаивала, чтобы Владик ее не провожал, и это Марии Федоровне понравилось. Но Владик повел их к стоянке такси. Они отвезли Ирину на Выборгскую, Владик вышел с ней из машины «на минутку», и его не было минут десять. В глубине темного подъезда Мария Федоровна видела белое платье девушки, потом ей показалось, что они целуются, и она отвернулась.

Шофер такси скучал, курил, наконец сказал: «Задерживается лейтенант», и Мария Федоровна ответила, что это ее сын и что он завтра уезжает. Шофер кивнул — «Понятно» — и вылез размяться и постучать ногой по скатам.

Она не заметила, как за перевалом, густо поросшим можжевельником и низкими корявыми соснами, разом открылись дома и вышка заставы. Солдат сказал:

— Встречают уже. Вон, даже отсюда видно.

— Где?

Она увидела фигурки людей, такие маленькие на расстоянии.

— Товарища лейтенанта там нету, — сказал солдат. — Только к вечеру будет. Это вас дежурный встречает и жена начальника.

Через десять минут жена начальника заставы Татьяна Викторовна подвела Марию Федоровну к обыкновенному бревенчатому дому и открыла дверь.

— Вот здесь и живет Владислав Степанович. Как фон-барон — целые три комнаты. Мы с семьей замполи-

та в другом доме живем — видели по дороге, двухэтажный? — а он здесь.

Мария Федоровна разглядывала комнаты со стесненным сердцем. Занавески на окнах, покрытый клеенкой стол, узенькая койка с солдатским одеялом на ней, в другой комнате — диванчик и столик возле него, на котором лежит почему-то телефонная трубка, а аппарата нет, и еще радиоприемник в углу на табуретке. В третьей комнате была большая печь и кухонный стол — вот и все, что она увидела. Пожалуй, только коврик, прибитый над диваном, придавал одной из комнат какое-то подобие уюта. Да две фотографии висели на стене — ее, Марии Федоровны, и той девушки, Ирины.

— Вам тут записка, — сказала Татьяна Викторовна. — Вон она, на столе лежит.

Мария Федоровна взяла листок с оборванным краем: должно быть, Владик вырвал его из блокнота наспех. «Дорогая мамочка, прости, что не смог встретить тебя — служба! Буду вечером, ты иди к Татьяне Вик. и отдыхай здесь, целую».

Записка тоже была написана второпях.

— Я своего уже два дня не видела, — сказала Татьяна Викторовна. — Пойдемте ко мне, там все приготовлено.

Потом они обедали, и Мария Федоровна видела, что у начальника заставы куда уютней. Просто здесь чувствовались прочный, установившийся быт и хозяйская женская рука.

— А где же ваш сын? — спросила она. Владик писал, что у начальника заставы есть рыжий Андрюшка. Татьяна Викторовна отвернулась.

— В городе, в школе-интернате. Я извелась вся. Никкак не могу привыкнуть.

— Скучает, наверно?

— Нет, не очень. Это я скучаю.

— Все мы такие, — сказала Мария Федоровна. — Мне тоже все кажется, что он маленький. Да он и на самом деле маленький. Двадцать один год... Как он тут?

Татьяна Викторовна пожала плечами.

— Как все. Работы у него, конечно, много, он ведь за боевую подготовку отвечает и службу. Ну, устает, конечно. А так ничего — здоров.

Расспрашивать о Владике больше Мария Федоровна постеснялась. Татьяна Викторовна предложила ей пройти на заставу.

— Пойдемте скорее, пока солдаты спать не легли.

— Разве у вас так рано ложатся спать? — спросила гостья, поглядев на часы: было начало девятого. Татьяна Викторовна махнула рукой.

— У нас все не так. Сейчас сутки начинаются, наряды только что отправились. Скоро и наши вернутся.

Они вышли. Было уже темно и холодно, накрапывал мелкий, неприятный дождик.

— Вы не знаете, — спросила Мария Федоровна, — в чем Владик пошел?

— Не знаю, — удивленно ответила Татьяна Викторовна.

— А то дома шинель и куртка. Как бы он не промок...

Солдаты стояли в коридоре здания заставы, курили и, когда появились женщины, вытянулись, одергивая гимнастерки. Татьяна Викторовна спросила, где Геранин, и ей ответили: доит коров. Мария Федоровна подумала, что это шутка, но никто не рассмеялся.

Сначала они прошли в казарму; солдаты толпились в дверях. Мария Федоровна оглядела ряды двухъярусных коек, потрогала одну из них — койка была жесткая.

— На такой не разоспишься, — сказала она.

— Ничего, — ответил один из солдат. — Еще как спим! Дело привычки.

Потом ее повели на кухню. Солдат-повар в белой курточке и колпаке смущенно отошел в сторону, вытирая потное лицо тыльной стороной руки.

— Что же вы? — сказала ему Татьяна Викторовна. — Угощайте гостью.

Повар метался по кухне, стуча сапогами, и, хотя Мария Федоровна отнекивалась, говорила, что сыта —

Только что обедала, — налил шей. Пришлось опять есть — тут же, в узенькой комнате-столовой. Потом повар притащил тарелку макарон с мясом, и она ела макароны, ела, чтобы только не обидеть повара, и хвалила. Солдаты толпились теперь в дверях столовой и шутили:

— У нас Вася первый разряд по шам имеет.

— Выйдет на гражданку — в ресторан пойдет, шашлыки готовить. Верно, Вася?

— Ерунда, ребята! Женится наш Вася и будет за домохозяйку. Это ж клад, а не жених! Вам таких на фабрике не требуется? А то порасспросили бы девчат.

А Вася стоял на кухне у плиты, глядел на Марию Федоровну печально и выжидающе — он-то знал цену своим шам и своим макаронам — и вздохнул облегченно, когда Марию Федоровну пригласили в учебные классы.

Ей рассказывали о том, как в позапрошлом году на участке заставы был задержан нарушитель, но она слушала рассеяннo. Сейчас ею владело чувство, схожее с печалью. Здесь, в классе, собралось человек пятнадцать, и Мария Федоровна невольно разглядывала их. Мальчишки, совсем мальчишки, как Владик, и у каждого есть мать, и как же это трудно — ждать их писем, ждать их отпуска...

— Вот он и задерживал, — сказала Татьяна Викторовна, вытаскивая вперед за рукав невысокого, щуплого паренька. — Чего ж ты прячешься?

— Про него даже в газете писали, — сказал кто-то из солдат.

— Вы, значит, давно здесь? — спросила Мария Федоровна.

Паренек ответил, почему-то смущаясь и краснея, что он уже отслужил три года и должен демобилизоваться, но теперь, сами понимаете, какая обстановка... Этот застенчивый, краснощекий паренек, задержавший нарушителя, Марии Федоровне понравился, — так и хотелось провести ладонью по его короткому, во все стороны торчащему «ежику». Вдруг он покраснел пуще прежнего и спросил:

— А вы Катю Ильину не знаете случайно? У вас на фабрике, из второго цеха.

— Знаю, — ответила Мария Федоровна. — Моя ученица.

Ей стало жаль этого паренька: Катя собралась замуж, девочки готовились к комсомольской свадьбе. Лучшее об этом не говорить сейчас. Но паренек, стоящий перед ней, вдруг тихо сказал:

— Не знаете, за кого она там замуж выходит? А то в каждом письме только одни восклицательные знаки.

Нет, Мария Федоровна не знала, за кого выходит замуж Катя. Этот паренек казался сейчас озабоченным. Татьяна Викторовна сказала:

— Тоже мне, какой взрослый нашелся! Она же старше тебя.

— Ну и что ж, что старше. Я все-таки брат, как-никак. Могла бы и написать.

Мария Федоровна пообещала узнать о Катином женихе и обязательно сообщить о своем впечатлении.

— Спасибо, — хмурясь, поблагодарил Катин брат. — А то, действительно, выскочит за какого-нибудь хлюста по дурости...

Она еле сдержалась, чтобы не улыбнуться этой смешной, мальчишеской заботливости.

И вдруг появился Владик. Он вошел в коридор как раз тогда, когда Мария Федоровна собиралась уходить. Она не сразу узнала его: Владик был в брезентовом плаще, перепоясанном ремнями, на одном боку у него висел следовой фонарь, на другом — большой пистолет в пластмассовой кобуре. Солдаты посторонились, Мария Федоровна медленно подошла к Владиду, и он неуклюже ткнулся холодными губами в ее ухо.

— Подожди меня, — шепнул он. — Я сейчас.

Солдаты стояли, вытянувшись. Дежурный по заставе, который ожидал в сторонке, пока лейтенант поздоровается с матерью, подскочил и, кинув руку к козырьку, доложил, что на заставе все в порядке, наряды вышли, личный состав, свободный от службы, отдыхает.

— Кто идет в наряд ночью?

Дежурный назвал несколько фамилий.

— Почему не спят? — спросил Владик. — Спать. В следующий раз на дежурных, не соблюдающих расписание, буду накладывать взыскания.

А на улице, в темноте, он обнял ее, и так, в обнимку, они дошли до дома.

— Ты меня прости, что я тебя не встретил, — быстро говорил Владик. — Понимаешь, приказ пришел на усиленную охрану границы, я весь день на линии. Как ты добралась? Тебя встретили?

Он спрашивал и не давал ей отвечать.

— Устал, просто с ног валюсь. Завтра, слава богу, у меня выходной, кино привезут, ты, наверно, еще не видела «Мир входящему». А в баню сегодня уже не пойду, завтра помоюсь.

Он положил пистолет на стол и только сейчас увидел банки с вареньем.

— Ого, сколько ты привезла, на год хватит! Я обедать уже не хочу, перекушу чего-нибудь. Ты погоди, я сейчас чай поставлю.

Мария Федоровна поглядела на его резиновые сапоги, до колен измазанные грязью, и пошла следом. У Владика были красные воспаленные глаза; он побледнел и похудел за эти три месяца, что они не виделись.

— Иди, — взяла его за плечи Мария Федоровна. — Я все сделаю сама. Иди, сними сапоги, я привезла тебе теплые туфли.

Он взял со стола ложку и вернулся в комнату. Мария Федоровна услышала, как там зашелестела бумага — Владик открывал банку с вареньем.

— Подожди, пока чай согреется.

— Ничего, — ответил Владик, — я немножко.

Не дожидаясь чая, он съел полбанки брусничного варенья и вдруг сразу раскис, виновато поглядел на мать и спросил:

— Ты не обидишься, если я немного прилягу, а?



— Конечно, ложись. Я тебе на диване постелю, там мягче.

— Нет, я здесь лягу, а ты на диване. Белье в шкафу. А завтра наговоримся, на озеро сходим.

Когда Мария Федоровна спросила, где ей взять воды — в ведре оставалось на самом доньшке, — он не ответил. Он заснул сразу, подогнув ногу и открыв рот.

... Мария Федоровна сидела на диване и читала книгу, в которую было вложено письмо от Ирины, когда загудела трубка.

— Я слушаю.

— Лейтенанта Раечкина.

— Он спит.

— Команда «Застава в ружье». Разбудите его, пожалуйста.

Мария Федоровна подошла к Владику и осторожно тронула его плечо:

— Владенька, тебя вызывают.

Он вскочил, торопливо натянул брюки, гимнастерку и в одних носках выбежал в первую комнату, где стояли сапоги и висел плащ. Потом вернулся, схватил пистолет и, натягивая ремень, успел поцеловать мать.

— Ты надолго? — тревожно спросила она.

— Не знаю. Ты ложись, спи, не жди меня.

Мария Федоровна вышла вслед за ним. Владика уже не было видно. Стоя на крыльце, Мария Федоровна куталась в свой платок и прислушивалась к ночи. Было тихо, только шуршали листья, опадая с большой березы, растущей возле дома.

Где-то высоко в черном беззвездном небе вдруг раздалась птичья голоса — там невидимые косяки тянули к югу своим извечным путем, над границами и городами, облетевшими рощами и замершей на ночь землей. Пролетели — умолкли в отдалении трубные голоса, а Мария Федоровна все стояла, вглядываясь в темень, все куталась в платок.

Должно быть, в главном здании открыли окно. Мария Федоровна слышала, как его распахнули. В ночной тиши-

не каждый звук был четким. И, едва открылось окно, слышался голос диктора: там, в казарме, включили радио.

«Нынешний год, — читал диктор, — год большого хлеба на Украине. По предварительным данным, на площади более двенадцати миллионов гектаров урожайность зерновых культур в республике составила восемнадцать с половиной центнера. Такого Украина еще никогда не знала. Только в областях — Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой...»

Казалось, этот голос растекался по земле, дарующей небывалые хлеба, а потом взмывался к ночному небу, откуда березы стряхивали свою листву и где тянули косяки птиц. Женщина долго стояла неподвижно. Она слушала и глядела туда, куда только что ушел сын — ушел в непросохшем еще плаще и с тяжелым пистолетом в пластмассовой кобуре...



## Дорога отцов

— Придется идти пешком, — сказал командир. — Если мы возьмем лошадей, на заставе останется только одна, а мало ли что...

Два коммуниста собрались в комендатуру на партийное собрание. До комендатуры было без малого двести километров...

Снег еще не выпал, и лес стоял прозрачный, чернобурый, с густой сединой после утренних заморозков. Он казался вымершим. Птицы уже улетели. «Природа тоже устает», — почему-то подумалось командиру. Быть может, потому, что он сам устал и мечтал только об одном: лечь и уснуть, и проспать сутки или двое подряд. Но нужно было идти на партийное собрание.

С ним шел второй коммунист, красноармеец Лагунов. Когда-то Лагунов был рабочим-металлистом, и до сих пор его руки хранили вьевшиеся в кожу кусочки металла. Он стеснялся здороваться с людьми за руку, потому что короткие пальцы сами собой смыкались так, что люди охали и морщились от боли. Когда строили здание заставы и надо было поднимать бревна, Лагунов молча обхватывал бревно и рывком поднимал его с земли. Вообще он все делал молча. И жил молча. Иногда за целый день от него никто не слышал слова.

Казалось, служба в лесах, на границе, была для него праздником, который никогда не кончался. Он уходил

в наряд с улыбкой и возвращался с улыбкой. Иногда он возвращался не один. Был случай, он привел троих лахтарей. Те дрожали от страха, будто за ними стояло привидение, и просили командира:

— Уберите его! Уберите его!

С трудом удалось вытянуть из Лагунова, как он ухитрился задержать сразу троих вооруженных лахтарей. Он сказал: «Да очень просто».

Одного он оглушил прикладом, другого приподнял и швырнул в третьего, а потом скрутил всех троих их же ремнями. Всего и дела-то! Ну, помял их, конечно, при этом самую малость.

Вот таким был Лагунов.

Командир совсем не походил на него. Командиру было уже за сорок, он прошел гражданскую, умирал сначала от раны в легкое, потом от тифа и все-таки выжил. Деникинцы вырезали в Орле всю его семью — мать, отца, жену, троих детей. Командир был седой, с грубыми и глубокими морщинами на сером от усталости лице. Никто не знал, что он долго харкал кровью. Когда впервые он увидел эту кровь, сказал себе: «Я не имею права заражать людей. Нас двенадцать, и мы живем тесно. Я обязан уйти.» Он ушел в лес и поднял к виску наган. Он почувствовал холодный металл и подумал: «Так просто? Ничего не сделав в жизни? Без боя, без борьбы?» И со злостью сунул наган обратно в кобуру. «Подлец, — сказал он сам себе. — Ты подлец, а не большевик.»

Он выкраивал часы и уходил охотиться на барсуков. В здешних лесах барсуки были жирные, как поросята. На кострах он вытапливал барсучий жир и, содрогаясь от отвращения, пил утром и вечером по целой кружке этого жира. Кровь перестала идти, он выздоровел. И только изредка вспоминал холодок нагана у своего виска...

Его звали Кирилл Чохов. Пограничники за глаза называли его — Старик. Он знал об этом и не сердился. Старик так старик... Тем более, что он действительно был почти вдвое старше каждого из них.

Он не любил покидать надолго свою заставу, и не потому, что не доверял по службе бойцам, вовсе нет. Ему казалось, что без него они не будут жить так, как живут при нем. Мать не любит оставлять без присмотра своих детей, а он был им и отцом, и матерью. Если у кого-нибудь из красноармейцев-пограничников пропадал аппетит, Чохов волновался так, будто у него заболел грудной младенец.

— Ешь! — приказывал он. — Не выйдешь из-за стола, пока не съешь всю порцию. Ешь, пожалуйста, прошу тебя...

Летом он заготавливал на всю зиму лук и чеснок. У него был горький опыт первого года пограничной службы, когда вся застава переболела цынгой. Молодых парней увозили на санях, и они не возвращались обратно. Поэтому теперь у него была кладовая, доверху набитая чесноком и луком.

Таким был Чохов.

Один из красноармейцев — крестьянин из Ярославской губернии, мастер на все руки (как большинство ярославских), драл лыко и плел отличные лапти. Сапоги и ботинки Чохов разрешал надевать в крайних случаях. В сухую погоду красноармейцы ходили в лаптях. И сейчас, собираясь в дорогу, на партийное собрание, Чохов сказал Лагунову:

— Сапоги возьмем с собой. Пойдем в лаптях. Ноги только обмотай потеплее. А сапоги наденем, когда придем. Неудобно в лаптях на собрание-то...

И они пошли.

Оба хорошо знали дорогу. Это посторонний мог бы легко заблудиться в здешних лесах, но они не раз ходили в комендатуру — шесть дней туда, шесть обратно. На этот раз Чохов решил выйти за пять дней. Снег должен был выпасть с часу на час, а у них с собой были лыжи. Они взяли по паре, но не те, которые мастерил тот же самый ярославец, а отобранные у схваченных когда-то лахтарей, легкие, с хорошими, прочными креплениями.

Идти на таких лыжах было просто удовольствием. Но пока не выпал снег, лыжи приходилось тащить на себе...

Земля была твердой, она успела промерзнуть сверху, и идти было легко. Чохов шел первым. Сзади почти неслышно ступал Лагунов. «Легкий человек, — подумал о нем Чохов. — И ходит легко». Он подумал о Лагунове с нежностью и тут же вспомнил, что вот уже три месяца Лагунов не получал писем. Вообще три месяца не было писем. Лето и осень оказались дождливыми, все пути размыло... Зато теперь в комендатуре Лагунову выдадут, наверно, целую пачку писем. Он представил себе, как Лагунов будет читать эти письма, шевеля губами, как всегда читают не очень грамотные люди, и улыбнулся от радости. Хорошо, что Лагунов шел сзади и не видел, как командир улыбается нивесть чему...

Два дня остались позади, две ночи они провели у костра; под утро третьего дня повалил снег. Он падал величественно, медленно, отвесно, будто соединял небо и землю прямыми белыми столбами. И это было хорошо, просто очень хорошо, потому что теперь они пойдут быстрее...

Снег шел густо, но и прошел быстро. Под деревьями оставались черные пятна не закрытой снегом земли. Но лес, который казался вымершим, сразу ожил. Буквы лесной жизни отпечатались на снегу, их можно было складывать в слова. По белотропу шли сотни следов, заячьи и лисьи, потом тропинки, проложенные белками, потом кругляшки лосиных копыт, и еще, и еще заячьи следы, и почти человеческий след, будто босиком пробежал ребенок, — это рассомаха прошла здесь совсем недавно... Наконец они увидели четкую тропку, хорошо протоптанную почти до земли, и молча переглянулись. Волки пробежали здесь стаяй, один за другим...

Но зверь прятался от людей. Должно быть откуда-то из чащи за ними следили десятки настороженных, боязливых или злобных глаз. Пусть себе смотрят! Люди не боялись ничего. У них были карабины, и у Чохова — наган, а у Лагунова — топор. Пусть смотрят, как идут

двое: шаг — вдох, два — выдох, и только снег поскрипывает под лыжами.

Они дошли до реки Уксы. Черная вода дымилась, отдавая свое последнее тепло. Командир любил эту реку, — вообще трудно сказать, что он не любил здесь. Но Укса ему нравилась особенно. Здесь хорошо брала кумжа. Бывало, он вытаскивал их штук пять или шесть за день, килограммов по восемь каждая. Но сейчас Чохов думал, как перейти Уксу. Река еще не встала, придется валить сосны...

— Давай, — сказал он Лагунову. — Я пока покурю. А потом ты покуришь. Жалко, правда, сосны губить...

Лагунов пошел валить сосны, две сосны подлиннее, чтобы, упав, они легли верхушками на тот берег. Тот берег был пониже, и Лагунов долго прикидывал, какие сосны ему валить. Ему тоже было жаль рубить деревья. Он был горожанин, а горожане больше уважают лес, должно быть, потому, что реже видят его.



Лагунов застучал топором, а Чохов сидел на замшелом валуне, смахнув с него снег, курил и думал о том, что он будет говорить на партийном собрании. Он не умел выступать. И если бы можно, он ни за что не выступил бы. Но не хватает шинелей — ребята пообносились. С тулупами вообще дело швах. Вот еще вопрос: валенки... Ну, валенки можно и не упоминать, сошьем себе торбаза из меха, благо шлепнули весной медведя, который пытался раскатать по бревнышку конюшню и добраться до лошадей. Есть еще штук шесть волчьих шкур, так что валенки можно не упоминать.

Газеты да и журналы, конечно, — вот что надо позарез. Ведь люди живут и не знают даже, что делается в мире, как здоровье товарища Ленина и не началась ли уже мировая революция... Книжки еще — учебники по арифметике, русскому языку. Хорошо бы стихи товарища Маяковского; он прочитал однажды его стихи в «Известиях ВЦИК» за прошлый, 1922 год и решил сохранить эту газету. Но не хватало бумаги на закрутки, и в конце концов пришлось скурить эти самые стихи. Но он их запомнил.

Слушай!

Министерская компанийка!

Нечего заплывшими глазками мерцать.

Здорово рубает по буржуазии товарищ Маяковский! Вот о чем надо сказать на собрании. Может, даже постановить: вызвать товарища Маяковского в гости, чтоб выступил. Чохов даже зажмурился от удовольствия, представив себе, как к нему на заставу приедет самый настоящий живой поэт. Он никогда не видел ни писателей, ни поэтов.

А Лагунов уже повалил одну сосну, и она легла в аккурат на тот берег. Упала — будто умерла. Чохов видел, как умирают люди. Дерево тоже дернулось напоследок. Он отшвырнул окурок и встал.

— Хватит одной! — крикнул он. — Как-нибудь переберемся.



Лагунов кивнул и засунул топор за пояс.

На тот берег Лагунов перешел первым. Он шел по бревну в рост, будто по хорошей, ухоженной тропе. Чохов даже позавидовал ему.

Сосна выехала из-под его ног, едва он ступил на нее. «Поползу, — решил Чохов. — Я ж не цирковой артист, все-таки». Он обхватил ствол ногами и пополз. Заплечный мешок, лыжи и карабин придавливали его, но он добрался почти до того берега. Ползти дальше мешали ветви, и ему пришлось встать. Дерево ходило ходуном. Нога, обутая в лапоть, сорвалась со скользкой коры, и, ахнув, Чохов полетел спиной в воду.

Первое ощущение было — ожог. Ему показалось, что все тело охватило огнем, такой ледяной была вода. Он судорожно схватился за ветви и скорее, чтобы не свело ноги, подтянулся. Лагунов ухватил его за руку и рывком вытащил сначала на ствол сосны, а потом, подняв на руки, вынес на берег.

— Ну, ну, — недовольно сказал Чохов. — Отпусти. Что я тебе — маленький?

Лагунов рубил подлесок, сосенки падали после первого же удара. Он не жалел сейчас деревья. Костер должен быть большим. Даже два костра. И Чохов, раздеваясь, расстегивая пуговицы негнушимися пальцами, ощущал животом и спиной тепло, которое должно было его спасти.

Но несколько часов они, конечно, потеряли. Надо же было вставать в рост! Как будто не мог переползти на карачках.

Он прыгал, надев на голое тело шинель Лагунова, пока, развешанные на палках, сушились его вещи. Ему было жарко. Шинель обжигала тело своим колючим ворсом. Чохову было жарко и весело, потому что он умел посмеяться над самим собой: должно быть, забавно было глядеть со стороны, как человек плюхается в воду. Вот переполоху-то было, наверное, в рыбьем царстве!

— Слушай, Лагунов, — прыгая, говорил Чохов. — Ты как думаешь, если я выступлю на собрании и про

тулупы буду говорить, а? Ведь нужна нам одежда и обутки нужны, верно? И газеты...

Он долго перечислял, что нужно заставе, будто репетировал свое выступление. Лагунов слушал молча и только кивал. Командир прав. Хватит говорить на собраниях о мировой революции.

Только с темнотой они пошли дальше. Стояла полная луна, и было светло. Зеленый лунный свет отбрасывал длинные черные тени. Чохов чувствовал, что ему не хватает дыхания. Все-таки это купание не прошло ему просто так. И Чохов с тоской подумал, что он может свалиться, а ему никак, ну никак нельзя болеть, потому что у него на заставе люди и без него им будет просто хана.

— Нажми, — прохрипел он Лагунову. — Чтoб семь потов сошло. И никаких больше перекуров.

Так кончился день третий...



Утром четвертого дня они наткнулись на лыжню.

Лыжня вела к границе. Чохов знал, что никто из своих не мог пройти здесь. Ни к чему было своим ходить здесь, да еще в единственном числе. Лыжня была узкая. Такие оставляют только лыжи лахтарей. Хотя у них самих были лахтарские лыжи, но это прошел не свой. Эти черти ходят, далеко выкидывая палки. И Лагунов тоже сразу сказал: «Не наш прошел, а?»

Они свернули, не сговариваясь. Теперь они уходили дальше, к западу, а им нужно было на восток. Лахтарь сделал большую петлю, видно было, что он выбирал самые глухие места. Эти места и впрямь были глухими. Не мог же он, в конце концов, предполагать, что двое пограничников пойдут на партийное собрание!

— Нажми, — хрипел Чохов.

Пот заливал ему глаза. Он на ходу снял островерхую буденовку и вытер ею лицо и лоб. Вещевой мешок болтался за спиной и мешал ему бежать, он скинул его и ткнул под куст; Лагунов проделал то же самое. Еще

через полчаса Чохов, тихо выругавшись, скинул шинель и повесил ее на сучок. «Подберем на обратном пути, — сказал он. — Кто ее здесь возьмет.» Но Лагунов не снял свою шинель. Она ему не мешала.

Они бежали по лыжне, проложенной лахтарем, и мокрый снег прилипал к лыжам, словно цеплялся за них. Чохов расстегнул ворот гимнастерки и скинул ремень. Он бы вообще разделся сейчас — все тело покусывал острый, едкий пот.

— Пустите меня вперед! — крикнул сзади Лагунов. Но Чохов не пустил его. Лыжня нырнула со склона в распадок, и Чохов, согнув колени, подавшись вперед всем телом, скользнул вниз, с удовольствием ощущая, как встречный ветер сушит его потное лицо и забирается под гимнастерку.

Он не слышал выстрела. Он просто наткнулся на какую-то стенку и упал. Он умер сразу. Был день — и не стало ничего.

Лагунов тоже упал, но тут же отполз в сторону, за голый куст, похожий на гигантского, ошетилившегося ежа.

Отсюда он видел весь распадок и человека, который уходил, пригибаясь и петляя. Лагунов целился долго, очень долго, — или это ему казалось, что он долго целится. И лахтарь сунулся в снег, нелепо раскинув руки.

Лагунов сидел на снегу и плакал. Никто не видел и никто не слышал его. Он плакал и гладил руку Чохова, жесткую и еще хранящую в себе живое тепло. Чохов смотрел в сумеречное небо и чуть улыбался. Капельки пота замерзали на его лице.

Лагунов вырубил топором неглубокую могилу и положил туда Чохова. Лохтаря он обыскал и сунул в карман какие-то бумаги, пистолет, пачку табаку, нож и мешочек с патронами. Он был хорошо одет, сукин сын, но Лагунов не стал его раздевать. Черт с ними, меховой курткой и пьексами. Он не смог бы надеть это. Пусть сгниет. Он взял карабин Чохова и пошел, не оборачиваясь и всхлипывая...

И через полгода, и через год, и потом до самой старости Лагунов не мог толком вспомнить, как он дошел до комендатуры. Часовой окликнул его, и Лагунов прохрипел в ответ: «Свой». Это он помнил. И помнил еще, как вошел в теплый коридор, а дальше был провал, забытье, словно омут, в который он погрузился, бессвязно бормоча:

— Опоздал, наверно?.. А мне надо сказать... Надо сказать... Он хотел сказать...

Он не опоздал на собрание. Но в тот день собрания не было — перенесли. Так и решили: подождать, пока Лагунов не выпится и не придет в себя.

Лагунов спал без малого сутки. Когда он очнулся, то долго не понимал, где он, и что за чистая постель, и откуда взялась разглаженная одежда на стуле рядом с кроватью, и куда девались его лапти, в которых он пришел.

В этот день он сидел в президиуме собрания, сухой, неподвижный, как восточный божок, с темным, окаменевшим лицом, на котором были резко вырезаны морщины, и встал только тогда, когда минутой молчания помянули командира Чохова. Минута прошла, все сели, и только Лагунов остался стоять.

— Садись, друг, — потянул его кто-то за рукав, но Лагунов не сел. Он не умел говорить, он был молчаливым. Но теперь он должен был сказать.

Он никогда не произносил столько слов сразу и устал так, будто прошел еще двести километров, отделяющих заставу от комендатуры. Он повторил все, о чем говорил ему там, у костра, командир Чохов. Он старался ничего не забыть, потому что Чохов очень сердился, если кто-нибудь забывал сделать то, что он велел. Особенно если дело касалось тех, которые еще несколько дней будут ждать своего командира...

## Где ходят олени

В первых числах ноября на Кирма-ярве прочно стал лед. Затем три дня подряд валил густой, пушистый, легкий снег и покрыл этот лед ровной пеленой. Капитан Селезнев сказал:

— Наконец-то.

Всем было понятно, почему он это сказал: на границе не любят непогоду. И наконец-то эта плохая погода кончилась, и наконец-то выпал снег, на котором виден любой след.

Зима стала прочно.

Солнце едва приподнималось над скалами, а потом быстро, как воздушный шарик, гонимый ветром, перекашивалось за белую вершину на том, чужом, берегу. Наступала ночь — и вдруг среди ночи светало, в полнеба разливался нежно-зеленый свет. Полярное сияние играло долго, но когда оно начиналось, капитан Селезнев говорил:

— Наконец-то.

Это было его любимое словечко. Он все время словно чего-то ждал, куда-то спешил, нетерпеливо и в то же время настойчиво, и когда свершалось то, к чему он спешил, чего ждал, он всегда говорил так — с чувством облегчения и удовлетворенности.

Год назад капитан Селезнев задержал первого в своей жизни нарушителя. Тогда несколько дней кряду ме-

ла пурга, и капитан все время был на границе. Он возвращался промерзший, отдавал распоряжения и, придя домой, ложился спать. Через два часа его будили и, выпив кружку горячего и черного, как деготь, чаю, он снова уходил в снежную кутерьму.

В эти дни он и задержал нарушителя, задержал вовсе не по правилам, растерявшись от неожиданной встречи. Он просто навалился на него сзади, сбил с ног, подмял под себя, сдавив его руки так, что из-под снега раздался долгий, глухой стон. Двое солдат стояли рядом с автоматами наизготовку, о них Селезнев вспомнил, когда нарушитель застонал. Тогда он поднялся, отряхивая с себя снег, хотя все равно мела пурга, и сказал свое обычное:

— Наконец-то.

Очень долго ждал он этой минуты.

И наконец-то нарушитель сидел в комнате дежурного, наконец-то Селезнев запечатал в фанерный ящик его пистолет, пачку денег, несколько паспортов, и наконец-то сам отвез его в штаб отряда.

Начальник отряда, полковник Лагунов, выслушал капитана, не перебивая, а потом встал и, нахмурившись, спросил:

— Стало быть, сами задержали?

— Так точно.

— Очень плохо, — сказал полковник. — И спите вы, наверно, часа три в сутки? Словом, плохо, капитан. Очень плохо. Я уже не говорю о том, что действовали не по инструкции. У вас целый коллектив — солдаты, ефрейторы, сержанты. Вы что же, не доверяете им?

На заставу Селезнев вернулся подавленный, понимая, что Лагунов прав, совершенно прав, и все-таки в душе, не переставая, шевелилась горькая обида. Примерно через месяц ему вручили медаль «За отвагу», и Лагунов, пожимая капитану руку, хитровато прищурившись, сказал:

— Ну вот, совсем другой вид. Высыпaeшьсeя?

— Высыпаюсь, — буркнул Селезнев.

... Нынешняя зима на заставе была его пятой зимой в этих краях, и капитан встречал ее с привычностью старожила, наперед зная, что она принесет с собой. Обычные заботы: теплая одежда, новый график нарядов, лицензия на отстрел лося и еще тысячи других дел, ставших обыденными. Да еще — вечная возня с оленями, теми самыми глупыми, добродушными губошлепами, которые то и дело переходили с чужого берега на наш. Пограничники научились их ловить с ловкостью ковбоев из заграничных фильмов. Потом этих оленей возвращали на ту сторону. Чужие пограничники в ботинках и красных фуражках принимали покорных губошлепов и что-то говорили по-своему, должно быть благодарили.

В общем, эти олени приносили нашим пограничникам немало хлопот, и не раз вся застава поднималась по тревоге. Ночь не ночь, буран не буран, а люди уходили на границу, оставляя тепло постели, недочитанную страницу книги или недосмотрев фильм... И капитан Селезнев знал, что ничего не изменится этой зимой и что по-прежнему олени будут переходить на наш берег.

Так оно и случилось.

На второй день после того, как на озеро лег прочный лед, олени прошли до широкой прибрежной полосы. Пограничники увидели, как пять или шесть животных, деловито разгребая снег, доставали ягель. Прогонять оленей было занятием бесполезным. Они поднимали головы и глядели на людей печальными, умными глазами, словно желая сказать: «Вы сыты и в тепле, а мы должны с утра до вечера разгребать снег и добывать себе еду. Не гоните нас, люди...» И людям приходилось ловить их. Пойманные олени шли покорно.

Селезнев доложил в отряд, что на участке заставы все спокойно, задержаны и переданы пять оленей, и снова пошли дни, похожие один на другой, размеренные, заранее расписанные по графику.

Неожиданно на заставе появился полковник Лагунов. Грузный, в тяжелом полушубке, он вошел в канцелярию заставы, и в комнате сразу стало тесно. Селезнев

подумал: с чего бы это вдруг полковнику понадобилось ехать на заставу, да еще в такой мороз и на ночь глядя? Тем более что Лагунов, скинув полушубок и разминая онемевшие пальцы, спросил:

— Ну, примешь гостя дня на три-четыре или мне к соседям ехать, на пятнадцатую?

— Оставайтесь, товарищ полковник. Устроим, конечно.

— На охоту бы сходить, — сказал полковник мечтательно. — Да времени нет. Буду у тебя в канцелярии сидеть вместо охоты.

Он все посмеивался, хитро поглядывая на капитана, и отлично знал, что тому не терпится спросить, зачем пожаловал начальник отряда.

Отдернув на стене штору, которая закрывала схему участка, полковник долго всматривался в очертания берега, в красную ломаную линию, означавшую государственную границу, а потом, плотно закрыв дверь, подошел к окну и, словно бы пытаясь проникнуть взглядом за белое замерзшее стекло, сказал:

— Придется тебе, Кирилл Александрович, усилить наряды. План охраны пересмотрим вместе.

И Селезнев понял, что полковник знает что-то такое, о чем расспрашивать не надо.

Полковника он устроил в своей квартире, во второй маленькой комнате. Они пили чай с вареньем из морошки. Жена Селезнева заготовила прорву этого варенья, и полковник, попробовав, сказал, что он пришлет свою жену на практику к Нине Селезневой. Спать не хотелось. Капитан подумал, что сейчас просто нельзя спать, и только удивлялся спокойствию Лагунова. Когда Нина вышла стелить ему, капитан спросил:

— Вы думаете... он пойдет здесь?

— Кто «он»? — равнодушно спросил полковник.

Селезневу показалось несправедливым, что Лагунов что-то таит от него, а этот уклончивый вопрос на вопрос только утвердил капитана в мысли, что он прав: полковник чего-то ждет.



Случайно подняв глаза, Селезнев увидел руку полковника: тот пил чай и высоко держал стакан. Почти фиолетового цвета широкий шрам уходил под рукав. Селезнев спросил:

— Где это вас так?

— Это? Старая история. Еще до войны, мальчишкой был, лейтенантом. В селе возле заставы один шофер жил... Разоблачили, да вот...

— Поймали?

— Ушел. И мне след оставил. Потом еще два раза от меня уходил, уже в войну. Давай спать, капитан.

На следующий день в комнате дежурного раздался звонок, и старший наряда сержант Ольховой сообщил о том, что на нашем берегу снова пойманы олени. Капитан поморщился, а полковник вдруг оживился и, протянув руку, взял у дежурного трубку.

— Олени, говоришь? Сколько? Три штуки? Давай, сынок, веди сюда, а свои следы замети веткой. Понял? Аккуратно веди, след в след. И осмотришь, чтоб никто тебя не заметил.

Тут Селезнев уж ничего не мог понять.

Через час сержант Ольховой привел на заставу трех оленей с нартами. Полковник приказал не снимать с них упряжку, и до следующего вечера олени пролежали, прижавшись к забору с подветренной стороны. Трех солдат полковник отправил за ягелем, хотя на заставе были две коровы и вполне хватило бы корма оленям. Но полковник приказал принести ягеля, и солдаты пошли за ним. Олени благодарно смотрели на людей умными глазами и медленно жевали смерзшиеся зеленые комочки.

Потом Лагунов вызвал Ольхового в канцелярию и, задумчиво разглядывая коренастого, красного после сна паренька, сказал:

— Вот что, сынок, пойдешь передавать оленей — скажи, что с ног сбились, разыскивая их. Скажешь — далеко ушли, и еще скажешь, чтобы хозяева лучше следили за ними. Все понял? Давай, двигай.

Когда за Ольховым закрылась дверь, полковник усмехнулся:

— Теперь олени на тебя посыплются, как дождик. Или...

Он не договорил. А капитан, уже наученный однажды, не стал задавать вопросов.

Полковник оказался прав. Олени, действительно, «посыпались». Они шли по три, по четыре, по пять каждый день, каждую ночь, всю неделю, и всю неделю полковник жил на заставе, в отряд не звонил, будто он был в отпуске и отдыхал здесь.

Одних оленей, пойманных на правом фланге, там, где шло гладкое, заснеженное плато, полковник приказывал возвращать сразу же. Других, которых ловили в редком перелесочке, доставляли на заставу, и солдаты опять уходили за ягелем. Животных держали день или два, потом вели на середину озера, и наши солдаты сердито выговаривали чужим пограничникам за их нерасторопность. Вряд ли те понимали, о чем шла речь, — только благодарили, улыбались и уводили покорных оленей в село, скрытое за прибрежными скалами...

Потом два дня все было тихо, а Лагунов никуда не уезжал. Он сидел в канцелярии и читал одну книгу за другой. Казалось, он и впрямь был здесь, как в отпуске.

Капитан Селезнев уже догадался о том, что происходило всю эту неделю, и, все-таки не выдержав, спросил:

— Думаете, прощупывают нас, товарищ полковник?

— Факт, — не отрываясь от книжки, сказал Лагунов. — Сегодня вечером прогуляюсь на левый фланг. Я уже подобрал себе лыжи.

Вечером он ушел, захватив с собой двоих солдат и перекинув за спину автомат. Селезнев не ложился спать, дожидаясь его. Полковник вернулся только под утро, замерзший, злой, усталый, и, наскоро выпив стакан чая, лег, попросив не будить его, а вечером ушел снова.

...Нарушителя привели ночью. Он сидел в канцелярии, сцепив пальцы и глядя в пол. Его поймали на левом фланге, в перелеске.

Сначала пограничники увидели оленей, так докладывал капитану старший наряда. Потом нарты. И, докладывал далее старший, когда наряд бросился к оленям, с нарт вроде бы что-то свалилось. Нет, он не стрелял, нарушитель. Он спал. Лежал и спал в снегу, как в своей постели. Пьяный. Когда его разбудили, он даже пытался что-то запеть.

Нарушитель сидел, слушал и, должно быть, не понимал, о чем говорит парень в полушубке русскому офицеру. Он еще покачивался, а в канцелярии пахло винным перегаром. Этот запах раздражал Селезнева. Он послал солдат встретить полковника, а пока перебирал вещи, отобранные у нарушителя: портсигар с дешевыми сигаретами, зажигалку, немного денег, полупустую бутылку с разбавленным спиртом, старый железнодорожный билет, нож да еще грязный носовой платок.

Человек, сидевший перед ним, был немолод. Седина на висках, грубые крепкие руки, задубевшая на морозе кожа. Крестьянин? Селезнев усмехнулся. Не этого же крестьянина ждал десять дней полковник Лагунов.

Он услышал раскатистый бас полковника и встал, одергивая сзади гимнастерку, потом шагнул к двери: «Товарищ полковник, разрешите доложить...» Лагунов остановил его:

— Знаю, Кирилл Александрович. Помоги-ка мне лучше раздеться — руки застыли.

Он раздевался, не глядя на нарушителя, потом, повернувшись к нему и приглаживая красными, замерзшими пальцами свои редкие волосы, усмехнулся:

— Ну, здравствуйте, Помеловский.

— Здравствуйте, — тихо ответил тот.

— Вот и встретились.

— Да.

— Подвели олешки-то?

— Подвели.

— Вот так-то, Помеловский.

Он потянулся всем своим большим телом, как перед сном после трудного рабочего дня и, сев на диванчик, грустно сказал:

— Жаль, не я вас задержал. Жаль.

— Все равно, — сказал Помеловский.

— Нет, — покачал головой Лагунов. — Мне не все равно. Ну, поехали?

Он снова надевал полушубок, долго застегивал негнувшимися пальцами ремень, деловито поправляя ушанку, и не глядел, как двое пограничников выводят Помеловского.

— Вы что, давно знакомы с ним? — спросил Селезнев.

Полковник отогнул рукав, и Селезнев опять увидел широкий шрам.

— Я тебе рассказывал уже. Его работа.

В дверях полковник снова обернулся и, подумав, сказал вдруг неожиданно:

— Очень долго я ждал его, капитан.



## Последняя примета

Я люблю бывать на этом островке, до которого долго и утомительно нужно добираться на шатком и скрипящем катеришке. Волна то и дело кладет его с борта на борт, и поэтому, сойдя через пару часов на каменистую землю острова, испытываешь странное чувство, будто земля убегает куда-то из-под ног, и обязательно нужно ухватиться за что-то, чтобы не упасть — так изматывает эта дорога!

Но все-таки я люблю бывать здесь, люблю смотреть, как волны перехлестывают через прибрежные камни, разбиваются о песок, оставляя на нем длинные скользкие водоросли и куски янтаря. Под ветром жмутся к земле похожие на гигантских ежей круглые низкорослые кусты можжевельника. Ветер мотает сети на вешалáх-нáках: пронзительно и печально вскрикивают чайки, неуклюже отлетая от волны всякий раз, когда та с грохотом рушится на берег.

На этом острове живут рыбаки и пограничники. Строения заставы и прожекторная вышка соседствуют с крайними домами села. Я бывал у тех и других, меня всегда трогало щедрое гостеприимство солдат и неразговорчивых калуров<sup>1</sup>. И всякий раз, приезжая в Энск, я прежде всего еду на остров, к капитану Крылову.

---

<sup>1</sup> К а л у р — рыбаки (эст.).

— Вы, конечно, к Крылову? — спросил меня начальник отряда и, не дожидаясь ответа, добавил: — Там уже давно все спокойно. Никаких происшествий. Тихая за-става. Но раз уж вам так нравится там бывать...

Два часа я проболтался в море на скрипящем почтовом катерке и наконец сошел на остров, испытывая уже знакомое ощущение убегающей из-под ног земли. Все так же стояли у причала мотоботы рыбаков. Все те же камни в белых потеках птичьего помета высились вдоль берега. Все тот же Крылов, коренастый, улыбающийся, стоял на причале, приветственно подняв руку. Я поискал глазами — нет, знакомых солдат я не увидел. Должно быть, давно демобилизовались ребята и растят, наверно, на целине хлеб или строят плотины сибирских ГЭС.

Новым был только большой щит, установленный возле тропинки, ведущей с причала. Щит, над которым поэстически было написано: «Лучшие производственники колхоза имени Кингисеппа». Несколько фотографий было на нем, и, проходя мимо, я невольно задержался на минуту, чтобы и здесь найти своих давнишних знакомых.

— Все молодежь, — сказал мне Крылов. — Когда вы здесь были в последний раз, они только начинали рыбачить. Хотя вот Олекса вы знаете да старика Мыттуса, пожалуй...

— Мыттуса? — удивился я.

— Вон он, — кивнул капитан на фотографию борода-того рыбака. — Не узнаете?

Нет, я узнал его, конечно. Просто мне не верилось, что на доске лучших оказался Карл Мыттус. Но, хочешь верь, хочешь не верь, это был он: я узнал и этот крупный нос, и этот колючий, исподлобья, взгляд...

— Чудо случилось? — спросил я. Крылов засмеялся, откидывая голову. Он всегда откидывал голову, когда смеялся.

— Ну, — сказал он. — Чудес на свете не бывает.

— Бывают, — не согласился я. — Помните золотую кильку?

— Помню, — признался Крылов.

Эта история была связана с Карлом Мыттусом, тем самым Карлом Мыттусом, чей портрет украшал сейчас колхозную Доску почета. Впервые я увидел этого старого рыбака на собрании. Обсуждался вопрос: почему колхоз платит моторно-рыболовецкой станции такие большие штрафы? Один из колхозников — Олекс — говорил, повернувшись к группе рыбаков:

— Это все из-за них! Это у них существует поверье, что в море нельзя выходить в субботу. Представляете себе, сколько ботов не выходит в субботу? И еще — эта дурацкая примета с золотой килькой...

Молодежь — здесь было много молодых людей — рассмеялась; пожилые сидели хмурясь. Я спросил у Крылова шепотом, что это за килька такая? Он объяснил, что, если в сети попалась хоть одна золотая килька, надо уходить в другое место, иначе быть беде — такова у стариков примета. Глупость, конечно, ерунда, а вот поди ж ты, верят! В субботу же добрая половина ботов остается в бухте. Виной всему, конечно, Мыттус; старик словно оброс этими приметами. И никакие беседы не помогают. Упирается на своем — хоть умри.

Тайну золотой кильки открыл неумный начальник заставы. Капитан написал длиннющий запрос в научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. Ответ пришел не скоро. По-видимому, письмо Крылова поставило в тупик даже знающих научных сотрудников. Зато как он радовался, как был счастлив, получив пакет с обратным адресом: Москва...

В письме говорилось: «Дорогой тов. Крылов! Вы задали нам нелегкую задачу, но, как это часто бывает, загадка оказалась очень простой. Дело в том, что икра кильки, попадая на чешую, обладает способностью окрашивать ее в золотистый цвет. По-видимому, в сети к рыбакам попадалась именно такая окрашенная килька. Желаем Вам успехов в борьбе с суевериями...» Дальше шла подпись видного советского ученого-ихтиолога.

Когда это письмо было получено, Крылов пошел к Мыттусу, поздоровался с его женой, и та сразу вышла,

поняв, что начальник заставы пришел неспроста и что мужчинам лучше поговорить с глазу на глаз.

— Значит, — спросил Крылов у Мыттуса, — вы верите, что кильку в золотой цвет окрашивает нечистая сила? А вот что говорят по этому поводу ученые.

Мыттус не умел читать по-русски. Капитан прочитал ему письмо и спросил прямо:

— Вы же знали, что это бывает от икры? Зачем же морочили рыбакам голову?

— Все боты тогда уходят, — хрипло проговорил Мыттус, прижатый к стене. — А я остаюсь.

— И получаете большой улов? — возмущенно сказал капитан.

— Да.

— Но ведь вы же подводите товарищей! Они теряют время, улов у них меньше, значит, и заработки меньше. Вы-то сами понимаете или нет, что это нечестно?

Потом этот вопрос капитан Крылов вынес на общее собрание колхозников и сам выступил с докладом о вреде суеверия. Мыттуса ругали все, даже его дружки. С тех пор по субботам лишь Карл Мыттус не выходил в море. Его бот одиноко стоял в бухте, а сам он сидел с пастором в колхозной столовой, и они пили водку. Боты возвращались, доверху груженные килькой, но Мыттус только фыркал: погодите, бог еще накажет вас за то, что вы тревожите его в субботу!

— Как же он стал передовым человеком? — спросил я теперь капитана.

— Это началось в субботний день, когда Мыттус все-таки вышел в море, — ответил Крылов.



...Шестой день вокруг острова гремел шторм. Капитана Крылова измучили эти дни. Он почти не спал, а если и ложился, то на час, не больше. Рыбаки, привычные ко всякой погоде, не выходили сейчас на лов. Они собира-



лись на берегу, сидели, курили, нехотя переговаривались и расходились снова.

Крылова бесил этот шторм. По радио из штаба отряда запрашивали об обстановке. Он выходил и смотрел на море, словно скомканное, смятое, на лохматые разорванные тучи, которые, казалось, вот-вот заденут верхушки деревьев, и потом сам готовил ответ в штаб отряда, думая про себя, что там тревожатся напрасно: кто же сунется сейчас через море в такую штормягу. На шестой день усталость все-таки одолела его: он пришел домой, разделся и лег. Это было верхом блаженства — лежать в чистой постели, чувствуя, как отдыхает все тело. В случае чего Крылова разбудят; он приказал будить его немедленно, по всякому, пусть даже маловажному поводу. Хорошо еще, что дочка успела уехать на материк до этого шторма, иначе девочка не успела бы в школу...

Он не слышал, как загудел телефон. Жена осторожно подошла к спящему Крылову и, нагнувшись, поцеловала в розовую, нагретую подушкой щеку.

Крылов медленно открыл глаза. Усталость не ушла от него; сейчас, после нескольких часов сна, она казалась еще более тяжелой.

Пока Крылов одевался, жена готовила ему бутерброды и чай. Крылов торопился: пора было идти, отправлять наряды. И это был уже другой Крылов — торопливый, нахмуренный, существующий вне этого дома.

За окнами по-прежнему гудел ветер и слышно было, как со стеклянным звоном разбиваются волны.

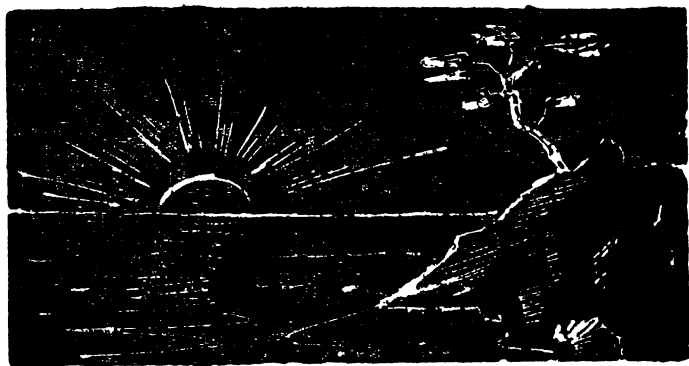
— Сегодня что, суббота? — спросил Крылов.

— Нет, пятница... Хотя четыре часа. Значит — суббота.

Но поужинать (или позавтракать) ему не пришлось. Снова загудела, как автомобиль, телефонная трубка на подоконнике, и он схватил ее.

— Да, я.

Он слушал и кивал головой, а потом, сказав «иду» и положив трубку, старался не торопиться: спокойно затянул ремень, провел под ним большими пальцами, поправ-



ля гимнастерку, отнес в угол сапоги и надел другие, рыбацкие бахилы, и так же не спеша натянул брезентовую куртку с капюшоном.

— Что-нибудь случилось? — спросила жена.

— Я скоро вернусь, — ответил Крылов.

Он выскочил за дверь. В лицо ударили крупные тяжелые капли. Было темно, в темноте проступали расплывчатые, неясные очертания строений, и только далеко за заставой светились сквозь дождь окна.

Крылов бежал, не видя тропинки. Дежурный доложил ему по телефону коротко: «Из штаба отряда передали: прорыв со стороны моря. Застава уже поднята по тревоге».

На бегу Крылов думал, что надо не только усилить наряды. Тревожную группу он выбросит на пустынную восточную часть острова. Если он и будут высаживаться, то не в поселке же!

Тревожная группа уже выстроилась во дворе заставы. Всякий раз, когда тревога поднимала заставу, Крылова начинало знобить, в нем поднималось нервное возбуждение. Так и сейчас, он говорил тихо и отрывисто, злясь, что не может уйти сам в эту ночь и в дождь, потому что

нужно доложить в штаб отряда, ждать донесений с постов и от нарядов, руководить поиском.

Радиограмма, полученная из отряда, была короткой: «Неизвестное судно идет зюйд мимо острова возможна высадка принимайте меры...» Последние два слова можно было бы и не писать. А какие меры еще можно принять, кроме тех, какие уже приняты? Конечно, это БО — «большие охотники» — засекли судно, они же, надо полагать, и перехватят его.

Крылов сидел рядом с радистом и нетерпеливо поглядывал на него, словно тот был виноват, что рация молчала. Ожидание было томительным. Крылов подумал, что сейчас хорошо было бы на всякий случай осмотреть море, но зажигать прожектор пока нельзя: черт его знает, может, он и прут сейчас прямо на остров и свет только спугнет их.

— Ну, что там? — спросил он.

— Ничего, товарищ капитан. Ждут, — ответил радист. Крылов крикнул через раскрытую дверь радиорубки дежурному: — «Как посты?» — Тот тоже ответил: — «Ничего, еще не подключились».

Тревожная группа и усиленные наряды ушли несколько минут назад, а Крылову казалось, что солдаты чересчур медлительны. Сейчас ему хотелось только одного: увидеть, где же бродит и с какой стороны подойдет (если только подойдет) к острову это проклятое чужое судно!

Он так и впился глазами в руку радиста, когда тот начал записывать очередную радиограмму. Когда прием окончился, Крылов поторопил: «Да скорее же вы...»

— Сейчас, товарищ капитан...

На этот раз радиограмма была с БО-34. «Судно идет острову выход море отрезан буду следить подтверждайте».

Теперь можно было зажигать прожектор...

В сушилке Крылова ждали двое пограничников. Он выскочил во двор, солдаты следом. В белесую дождевую муть рвался ослепительный луч прожектора.

Дождь, сразу заливший лицо, немного успокоил его.

Он крикнул на вышку: «Что-нибудь видно?» Наблюдатель не видел ничего, луч прожектора вырывал из темноты только эти бесчисленные валы, все лезущие и лезущие к берегу, словно гигантские животные, пытающиеся проглотить остров.

Крылов стоял под дождем и смотрел, как стремительно ходят из стороны в сторону, то расходясь, то снова скрещиваясь, два луча: зажгли второй прожектор. И когда сверху донеслось: «Есть!» — он похолодел, потом зачем-то распахнул куртку и хрипло выкрикнул:

— Куда идет?

— На нас... Нет, свернул, товарищ капитан, к шестому посту пошел... Бот, вроде рыбацкого. Метров четырехста...

И снова он бежал, слыша, как сзади стучат по камням сапоги двух солдат. Конечно, теперь-то уж и м не уйти, в море их перехватит «охотник». Если же они попытаются обогнуть остров и все-таки высадутся на Большой земле, их все равно возьмут: поднят весь участок.

Но брать их надо было сейчас, если к тому представлялась хоть малейшая возможность. Когда пограничники — все трое — задыхаясь, поднялись на дюны, они увидели моторную лодку, освещенную прожектором. Она то поднималась на гребне волны, то стремительно летела вниз и исчезала, словно накрытая ею.

— В мотобот! — не узнавая своего голоса, приказал Крылов. — Ты знаешь мотор, Уутс?

— Да.

Рыбачьи мотоботы, стоящие за широкой дамбой, тихо покачивались и скрипели на мелкой волне. В одном из них уже был человек; он торопливо резал веревку. Крылов удивился: Мыттус? Впрочем, удивляться и раздумывать, почему он здесь, было некогда, он вскочил в бот, Уутс — за ним. Второй солдат остался на берегу: бот сразу же отогнало от берега.

Все это произошло так стремительно и так неожиданно, что Крылов не подумал, почему здесь, в одном боте с ним, оказался старик Мыттус.

— Их надо задержать. — громко сказал он. — Вы поняли меня, Мыттус?

Тот стоял у руля и, казалось, не слышал Крылова. Не оборачиваясь, он что-то сказал по-эстонски Уутсу, и пограничник растерянно поглядел на лейтенанта.

— Он говорит, что их надо спасать. Это рыбаки, рыбацкий бот. Сигналили фонарем — Мыттус видел. У них, наверно, руль сломало...

Выйдя за дамбу, они попали словно бы в другой мир, сотворенный лишь из ветра и воды, и мотобот сразу же едва не разбило — они чудом проскочили мимо огромного, обточенного до блеска камня.

Все смешалось. Крылов не почимал, ревет ли это море или бешено крутится в воздухе винт, когда корма повисает над водой, а бот упирается носом в волну, будто пытаясь пройти сквозь нее. На какую-то долю секунды он пожалел о сделанном. Конечно, это безрассудство — выскочить сейчас в море на утлом рыбацком суденышке. Просто счастье, что с ним оказался Мыттус. Будь они без старика, дело могло бы кончиться плохо, очень плохо. Он с трудом подавил в себе неприятное чувство страха. Что ж, подумалось ему, до берега в случае чего не так-то уж и далеко...

Черт его знает, как все это проделывал Мыттус. Он стоял к Крылову спиной, и тот видел только голову, втянутую в плечи, каким-то незаметным, едва уловимым движением руки Мыттус держал бот против волны, и Крылов еще раз подумал: да, худо пришлось бы им без него.

Неожиданно Мыттус повернулся и свирепо рывкнул на Уутса. Пограничник, суетливо нагнувшись, поднял конец и начал разматывать всю бухту. Мыттус снова крикнул на него — Уутс, размахнувшись, бросил канат. Лодка с нарушителями плясала, валилась с борта на борт метрах в двадцати...

Крылов плохо соображал, как Мыттус ухитрился повернуть бот: их накрыло волной, и Крылов судорожно схватился за поехавший куда-то вниз борт. Но тут же

оборвавшийся стрекот мотора возобновился. Крылов открыл глаза и увидел, что бот идет по волне в бухту, а позади, на буксире, болтается вверх и вниз лодка нарушителей.

— Как рыбку на веревочке, — засмеялся он, кивая Уутсу. Тот сидел у мотора бледный, или это только так показалось Крылову при свете прожектора. «Может быть, и я такой же? Нехорошо. Подумают, что перетрусил».

На берегу их уже ждали...

Задержанными оказались два рыбака. Первое, что при свете карманного фонаря успел разглядеть Крылов, были воспаленные глаза, измученные лица и жалкие усталые улыбки. Они не говорили ни по-русски, ни по-эстонски, два финских рыбака, унесенные этим штормом.

— Ладно, в штабе отряда проверят, — сказал Крылов. Как там, есть горячий чай? И давайте отбой...

Он пошел на заставу вместе с бойцами двух усиленных нарядов, снятых теперь за ненадобностью. Пришел, набросал несколько слов радиogramмы и уже спокойно ждал, пока радист их отправит. Ему принесли горячий чай, но он не стал пить. Дежурный спросил, надо ли дать рыбакам переодеться, и Крылов ответил вопросом на вопрос: «А сами вы как думаете — надо или нет?» Дежурный вытянулся, ответил не по-уставному — «понятно» и пошел переодевать задержанных. Крылов распорядился выдать им обед из «расхода», оставленного для тех, кто ушел в наряд. Теперь можно было вернуться домой.

В палисаднике, перед зданием заставы, на скамейке сидел Мыттус, и Крылов заметил, что старик мокрый с ног до головы. Стало быть, он не пошел даже переодеться, а сидел вот так все время и ждал его.

— Вы что? — удивился Крылов. Старик поднялся. Высокий, прямой, он смотрел на начальника заставы из-под тонких, как у птицы, век, не вынимая изо рта холодную, потухшую, трубку.

— Ты храбрый человек, — сказал он. — Я и не думал, что ты такой храбрый.

Крылов готов был обидеться

— Почему же не думал?

— Потому что самый храбрый человек на острове до сих пор был я, — задумчиво сказал старик. — Я выходил в море и не в такой шторм. Но сегодня я впервые в жизни вышел в море в субботу. Ты понимаешь? Впервые в жизни, потому что иначе эти рыбаки погибли бы. И вот я пришел к тебе, как храбрый человек к храброму. Скажи мне честно: действительно ты считаешь, что я могу не бояться теперь выходить в море в субботний день?

— Конечно! — сказал Крылов. — Конечно, я так считаю.

— И я теперь так считаю, — медленно сказал Мыттус. — Действительно, раз ничего не случилось...

— Идем, — сказал Крылов. — У меня есть дома горячий чай.

Они вошли в сени, и вдруг Мыттус удивленно переспросил, словно бы сам себя:

— Действительно, раз ничего не случилось, зачем же терять целый день?



## СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . .	5
Земля по экватору . . . . .	6
Замполит Званцев и его друзья . . . . .	18
Два Степана . . . . .	19
Куст белой сирахаги . . . . .	43
Репорта не будет . . . . .	58
Джентльменский линек . . . . .	74
Мама приехала . . . . .	86
Дорога отцов . . . . .	98
Где ходят олени . . . . .	108
Последняя примета . . . . .	116





*Евгений Всеволодович ВОЕВОДИН*

**ЗЕМЛЯ ПО ЭКВАТОРУ**

Главный редактор *М. СМИРНОВ*

Редактор *В. ГОЛАНД*

Художник *А. ШЕСТАКОВ*

Обложка художника *В. ПРОВАЛОВА*

Технический редактор *Л. СУХАРЕВА*

Корректор *Т. ХОРЬКОВА*

---

Г-43538 Сдано в набор 24 октября 1967 г.

Подписано к печати 20 ноября 1967 г.

Формат 70×108/32.

Объем 4 п. л.

(Усл. л. 5,48).

Уч-издат. л. 5,56

Цена 20 коп.

Зак. 828.

---

Типография журнала «Пограничник».

Scan, DJVU: Tiger, 2013

**Цена 20 коп.**